

СВЯЖИЕ РОССИИ

В самые тяжёлые времена конца 1980-х — начала 1990-х годов еженедельник “Литературный Иркутск”, главным редактором которого была Валентина Васильевна Сидоренко, помогал всем русским патриотам обрести надежду в размышлениях о будущем России и в борьбе против русофобии, развязанной её врагами. Рядом с В. Сидоренко в те годы, поддерживая её своим слогом на страницах “Литературного Иркутска”, стоял Валентин Распутин... Валентина Сидоренко в скором времени будет отмечать свой юбилей, к которому приурочено издание трёхтомника её прозы в издательстве “Вече”. Одну из повестей выходящего в свет трёхтомника мы публикуем в традиционном для нас сентябрьском “иркутском” номере журнала.

Ст. Куняев

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО



ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

ПОВЕСТЬ

...Сумерки он не любил. Матёрые, по-северному пронзительные, они оцепляют деревеньку, как волки, медленно подкрадываясь к ней длинными серыми тенями, а потом броском, тайно хлынут, забивая дворы рыхлою сырою тьмою. В Егоркино всегда загораются холодным закатным заревом окна Сапожниковского дома, единственного застеклённого в мёртвой деревне. Он стоит наособицу, на пригорке, ликом к небу, и как бы вчитывается в приближающиеся с закатом небесные знаки. Эдуарду Аркадьевичу кажется, что тоску начинает источать именно этот дом, громадный, рубленый, как нахоленная птица, с коньком-клювом и со своими белыми, зловеще вспыхивающими на закате окнами, а потом уже вся деревенька, медленно врастающая во тьму, начинает тосковать своими ещё живыми незримиыми глубинами, и он ощущал эту тоску физически. Иногда перед закатом Эдуард Аркадьевич

слышит лай собак, крик кочетов и мычание коров. Слушает спокойно, зная, что так бывает в мёртвых деревьях, но это тоже знаки тоски и сумерек.

Стоит нежный, лучистый октябрь. Земля ещё цепляется за остатки тепла, как женщина на исходе своих лет поражает иногда кроткою, со шербинкой, нежностью. Ещё не совсем разделся лес, и в полуголом березняке рыжеет осина, багрово кровянит краснотал, и как-то откровенно, бесстыдно дразнят кровавым рубином гроздья рябины. В заросших желтеющих огородах по оставшимся заплотам ползёт мокрица, сочная, зелёная, серым свинцом наливается польнь, и чистотел жёлтыми звёздами прорастает сквозь крапиву. Огороды уже зарастают орешником, подростом березняка, светящегося молодой желтизною, на сгнивших крышах алеет иван-чай, и кое-где ещё дикими зарослями вырождается малина. И среди этой петушиной ярмарки суровой серебристой чернью отливают листвяк.

Осенний день короток, как вздох. И пока стоит на промытых свежих небесах крепкое осеннее солнце, пока горят леса, странную осознанную силу набирают воды незлобивой Мезени. Лопотунья в обыденности, она вдруг затихает в эти часы, как бы нарастая изнутри густым синим подшерстком, и особенная рябь сближает её с замершим перед небесами зверёнышем. Без ветра она расслабляется, спокойная, зрелая, глубокая, плывет, как пава, и Эдуарду Аркадьевичу, который часто сидит под солнышком на её обвалом берегу, иногда кажется, что он различает обрывки её беседы с небесами. Странно и страшно живётся ему здесь. Странна, дика и несообразна ни с какими физическими законами кажется ему природа. Эти могильные ночи, чёрные и косматые без луны, а если луна появляется, то её громадность, без матовости, яркий нестерпимый блеск пугает так же, как и непроглядная тьма. С началом сумерек он всё вглядывается сквозь окно в мёртвые проёмы мёртвой деревни, и ему кажется, что не тьмою зарастает она, а самим временем, которое, как песок, зароеет скоро её, а вместе с нею и он, Эдуард Аркадьевич, останется на дне этой могилы, заживо погребённый тьмою и временем. Если, конечно, не вернётся Иван. А ведь когда-нибудь так может случиться, что Иван не вернётся, и Эдуард Аркадьевич останется один на один с этой чуждой ему русской деревней, брошенной на смерть так же, как и он. Знала бы о его кончине мать, думал он.

Его матушка Серафима Фёдоровна — душистое чудо детства, одна из тех, кто составлял мудрость и честь исчезнувшего поколения. Она была без всяких натяжек красавица. Высокая, статная, с роскошью чёрных, толстых — с кулак — и длинных — до пят — кос, с которыми она не рассталась до самой смерти, с густыми бархатистыми бровями... Недаром отец ради неё, несмотря на все угрозы и происки, отрёкся от своего еврейского клана и, кажется, за жизнь ни разу не пожалел об этом. Кроме того, она была разумна до расчётливости и крепка во всём. Громадное по тем временам для города хозяйство лежало на её плечах. И вела она его безукоризненно. Чего стоило одно только её крахмальное бельё! Эти скрипящие тугие полотенца... У неё была только одна слабость — мечта о блестящем музыкальном будущем сына... Она так и видела Эдичку со скрипкою на сцене, а себя — в зале... Ей не давала покоя слава Ван Клиберна... Эта её слабость во многом лишила детства Эдичку... И если бы она знала, что столько трудов, времени, средств — всё пойдёт прахом, что её Эдичка будет доживать никому не нужным приживалом не в столице, а в мёртвой русской деревне, такой же заброшенной, как и он сам, медленно вымирая от голода и холода!..

Эдуард Аркадьевич всё солнечное время этих дней проводил на обочине просёлочной дороги в ожидании Ивана. С утра, послонявшись по пустому дому, заглянув в холодный и гулкий от пустоты амбар, он гляделся в бане в осколок толстого зеркала, вправленный в бревно предбанника, чесал костлявой пятернёю ключковатую, узкую, как у козы, бородёнку, надевал на пегую от седины голову потёртый серый берет и шел в дом искать очки. Они ему не нужны, иногда мешали, но он привык носить их, выходя на люди, как он считал, для пристойности. Очки были старые и уже mutilи, дужка переносицы была сломана и неумело забинтована синей изолентою, и когда Эдуард Аркадьевич их надевал на свой увесистый — вниз — нос, то его серые

близорукие глаза становились круглыми, большими и детскими. Потом он старательно чистил грязной столовой тряпкой когда-то зелёный военный плащ, подаренный ему ещё матерью, и, размазав грязь по засаленной ткани, пригладив височки, выходил на улицу. Плащ был просторным и длинным, и раздувался на нём, как балахон, путаясь в ногах. В нём Эдуард Аркадьевич казался ещё длиннее, чем был на самом деле, хотя и без того он был высок ростом и сутул, и голова его с плотным крупным носом свисала впереди тела, как подсолнух, чуть покачиваясь. Ходит он ровно посередине улицы, размахивая самодельною тростью, выструганною Иваном, с изразцами и берёзовым капом вместо набалдашника. С этой тростью он не расстаётся никогда. И часто, расчувствовавшись, утирает гладкою плотью гриба свои горячие, старческие слёзы.

Вторая неделя без Ивана движется медленно, каждым своим часом измощая его. Кончились деньги, хлеб и сахар, махорка — и та кончилась, и он уже не ходит в Мезенцево побираться у продавцов и сельчан, потому что никто ничего не даёт, и не подаст. Иногда по случайности или по ошибке на поселковую дорогу выскочит потрёпанный райповский “бобик”, поёрзает по красным глиняным ухабинам, заурчит над ухом, обдавая горячим и едким дымом... Не останавливается. Иногда остановится заблудшая, как овца, чья-нибудь чиновничья “Волга” или редкий, но давно знакомый этим дорогам, зловеще высверкивающий, как щука в заводи, плотными боками новорусский “Мерседес”. Тогда Эдуард Аркадьевич, путаясь в словах и размахивая тростью, будет горячо и туманно разъяснять, почему заблудились “они”, и те бритоголовые, крутые, в длинных дорогах пальто будут молча, с опаскою смотреть на него, как на фантом из другого мира, неожиданно возникший посреди заброшенных деревень. А Эдуард Аркадьевич, торопясь и захлёбываясь словами, всё пытается напомнить о куреве, неловко, как бы между прочим, говорит о хлебе и другой нужде. Иногда ему перепадает, чаще он слышит мягкий стук закрывающейся дверцы, и, удивляясь этому шуршащему блистающему чуду, проплывающему мимо него, он бежит за ним, взмахивая тростью и договаривая непонятное ни ему, ни тем, мягко отдаляющимся от него в “Мерседесе”. Потом он возвращается, свесив сплющенное яйцо своей головы, и всё говорит про себя, читает стихи или плачет, а увидев мелкий косяк птиц в высоком небе, со слезами шепчет: “Полетели, родимые. Милые вы мои, милые...” Плачет он часто. Без Ивана особенно часто, потому что Иван — пересмешник и бодрит его.

Деревенька, по которой проходит Эдуард Аркадьевич, и жилая-то была махонюшкой, но он помнит её ещё весёлой, звенящей, с жёлтым, как масло, лёгким деревом в солнечную благодать и подобранною, нарядною ещё... В семидесятых годах прошлого века Егоркино признали неперспективную деревенькою. Приговор смертный. Убрали школу, потом магазины, отключили электроэнергию. В восьмидесятых ещё доживали в деревне кое-какие старики, а кроме того, её оживил короткий дачный бум. Городская интеллигенция за бесценок скупала пустые усадьбы, приезжая в деревню летом. И несколько беспечных и звонких лет здесь слышалось детское щебетанье и гудели машины, и горели костры, и ходили по тропкам разомлевшие полуголые дамы, волнуя и вдохновляя его. Тогда они с Марго ещё дружили и ночами просиживали у костра, говоря без умолку. Сколько пьяной дребедени нашептал он ей в охочее до сальностей, крайне любопытное ушко. Язык тогда у него был мастеровит и отточен на этих глупостях. Марго была уже замужем за своим игрушечным Зямой и воображала Эдуарда Аркадьевича своим верным и жизненным оруженосцем, бесконечно влюблённым в неё. И он от суетности своей и безделия подыгрывал ей... и доигрался. Эдуард Аркадьевич вспомнил их последнее свидание с Марго. Как она выговаривала ему, будто милостыню подавая ничтожную сумму за его комнату. Кривила при этом плотные, как подошва, крупные губы, источающие яд, а он — сизо-серый с похмелья, униженный, с обвисшими подглазьями, в потрёпанном Зямином пиджаке, теснившем его, как второгодника-переростка, — смотрел на неё через аляповато оформленное тяжёлой бронзой зеркало, холодно изумляясь тому, что вот эта усатая жидовочка, которая сейчас гневно колышется перед ним всем

своим сырым оплывшим телом посреди когда-то и его громадной квартиры, забитой перетянутой атласом мебелью с грузными амурами в дорогом багете, это и есть та самая Марго, когда-то нежное волоокое создание с лилейной шейкой и кошачьей грацией, на которой он едва не женился... И неужели с нею аж в долялькин период, беспредельно мечтательные и романтические, они взахлёб читали стихи, многозначительно взглядывая друг на друга и замолкая посреди разговора. А теперь она, картаво грассируя, кричит о своей высокой жертвенности и его неблагодарности. Грассировать она выучилась в последние годы, когда начала изображать из себя дворянку, съездила в Питер, понахваталась там одесской блаботы, выдавая её за дворянскую культуру...

А тогда она купила эту усадьбу, поселив в ней Эдуарда Аркадьевича как сторожа, домового, своего вечного воздыхателя. К этому времени жизнь у него рухнула. Он ушёл из семьи, из института, поболтался в туристских походах, подвизаясь на лёгком и весёлом хлебе турагентства. Но и биваки случайного знакомства таких же, как и он, катившихся по жизни, как перекати-поле под ветром, и короткие и лёгкие любви, ни к чему не обязывающие, почти механические от однообразия, приелись ему, и деревенька показала Эдуарду Аркадьевичу крошечным раем, местом обетования и покоя. Тогда же Софья, его жена, по совету своей свекрови путём сложных и непонятных манипуляций по размену получила квартиру себе с сыном и комнату в коммуналке для Эдуарда Аркадьевича. Дом, в котором он жил, — сталинский, с просторными квартирами, высокими потолками, чистыми обустроенными подъездами. И его комната в соседстве с одинокими стариками, которые вскоре покинули этот свет, очень заинтересовала Марго. Однажды как бы между прочим она сказала, что готова помочь ему и достать хорошие деньги под его комнату. А договор о купле-продаже будет как бы фиктивным. “Это условности, которые нужно соблюсти”. Он гораздо позднее узнал, что комнаты стариков она к тому времени уже “прихватизировала”. Сумма, ею предложенная, показалась Эдуарду Аркадьевичу фантастически громадной. Думалось, что её хватит на всю жизнь до последнего дня. С избытком... Она и этой-то суммы не выплатила на треть, предложив ему вместо неё “заведовать” дачей: стеречь, сажать овощи и ухаживать за огородом, а потом привозить ей урожай на дом. Так он и остался в деревне Егоркино, куда вскоре вернулся к родительскому очагу Иван. Старики в деревне повымерли, либо их разобрали по городам дети. Дачникам поездки в деревню стали не по карману. Они постарели, дети выросли и не рвались сюда. Так они и остались вдвоём с Иваном. Пенсию Эдуард Аркадьевич не получал. Можно было выхлопотать какую ни на есть, но для этого тоже нужны были деньги и ноги. А ни того, ни другого в наличии не было. Да и останавливаться у Софьи всегда было тягостно... За последние годы он продал на ростани, проел и пропил сначала все вещи Марго, весь а la “русский антиквариат”, который она старательно сюда свозила под его недремлющее око. Потом пошёл шарить по деревне... И при удачной продаже они с Иваном, бывало, гудели по два-три дня. Теперь уже всё было продано... Им ещё помогал Гера Руцкой, бывший журналист, теперь предприниматель, травивший местных старух американскими окорочками. Тот время от времени делал наезды на своём “Мерседесе” по местным мёртвым деревням, откуда он сам был родом, но не для продаж — для подарков городским снобам и приезжим знаменитостям. Иван считал, что прошивать честнее. Они оба не любили этого Геру... Вот так и доживает он приживалом русской деревни и Ивана. У того пенсия, которую он ездит получать раз в два-три месяца, какие-то акции, с которых он худо-бедно стрижёт дивиденды, и сын, и невестка, и внучка в городе, и могила жены здесь, на Егоркинском погосте... Иван богаче. У Эдуарда Аркадьевича тоже сын и внук, но какие-то не такие. Чуждые. Как говорит Иван: “Ушли в евреи”. А он вот тут. И не тут, и не там...

Этот день не удивил и не обрадовал Эдуарда Аркадьевича. Солнышко пригрело его на обочине просёлка, посреди зелени новой травы, и он, любовно погладив её, сказал: “Куда ты прёшь, дура! Ну, куда вылезла? Заморозит ведь. А...”

Мимо проехал Гера, кивнув ему вздутой головою с казацкими усами и надменно усмехаясь. Не было Ивана. Как только тени от близкого лесочка поползли на дорогу, он встал и пошёл по её каменистой, припылённой серёдке. Дойдя до крайней усадьбы, он ещё раз оглянулся с надеждою на дорогу. Небо у горизонта уже сливалось с землёю, и кромка их соития густо и влажно темнела. Небесная синь налилась и в самой сердцевине своей уже отсвечивала коротким и трепетным закатом. Дорога потемнела посреди желтизны увядших трав и полутолого леса и была пуста и собранна под близким устрашающим небом. Перед закатом особенно тоскливы разрушенные усадьбы, и первая из них — бобыля Никифора — уже источала вместе с тенью едва уловимый женственный плач. Эдуард Аркадьевич прибавил шагу. Он помнил старика Никифора. Это был высокий, белый, с лунным отливом, очень красивый старик, и Эдуард Аркадьевич удивлялся его бобыльству. Он и старух-то в Егоркино помнит очень активными, дошлыми до семьи. А вот Никифор прожил бобылём. Говорили про какую-то романтическую историю его юности, но Эдуард Аркадьевич склонялся к другой, более прозаичной и правдивой: что война порушила его мужские способности. Вот и просидел Никифор остаток жизни один на своей лавочке подле ворот сухим стерженьком. Белый-белый старец... Никифорова усадьба рухнула первой. Может, оттого, что ещё при жизни хозяйина она не имела должного ухода, да ещё крайняя. Её первой начали разбирать заезжие... А вот — три “девицы-сестрицы”, как он называл крепкие и как бы спаянные усадьбы подле бывшего памятника погибшим фронтовикам (успела ведь деревенька обрести его в годы брежневской кампании). Эти подобранные, крепенькие звенели в обнимочку белым крупным деревом. Лёгкие, весёлые, простые, как слово “мать”. Он любил сидеть подле этой “животворящей троицы” на белой лавочке. Казалось, что это сидение давало ему надежду и силу. Он и сейчас сел на приземистую белую лавку, опёрся спиною о нагретый солнцем заплот. Нога поднывала — плохой знак, и Эдуард Аркадьевич, подняв военное сукно зелёных брюк, погладил больное место сухой, по-птичьи узкой ладонью. Спину пригрело от заплота, и он подержал под солнцем худое, синеватое от голодной старости лицо. Припекало нежно, ласково, и он задремал совсем ненадолго, как бывало с ним теперь часто, минут на двенадцать, но в глубокой вязи смутного сна едва забрезжили её очертания... И он заволновался, рванувшись к ней, и от волнения проснулся, открыл глаза. Тишина стояла смертная. Даже дыхание ветра прекратилось, птицы — и те не щебетали, беззвучно прорезая воздух. Эдуард Аркадьевич встал, теребя гладкий ствол трости, откинув её, пошёл прочь от “троицы”, потом вдруг вернулся и вновь сел на лавочку. “Отчего это осенью так синеют реки? — обречённо подумал он, глядя на реку. — Должно же быть этому объяснение”.

Сойка, пролетавшая над соседним двором, задрезжала в выси, затрепала недовольно и властно, и он вздрогнул, встал и пошёл, тяжело опираясь на трость. Нога вдруг заболела, и каждый шаг давался с трудом.

— Это оттого, что воздух становится тонким, — сказал он вслух. — Его мало. Да листва мёртвая пала. — Листва не вырабатывает кислорода, — он знает, был когда-то биологом. — Уж это-то я как-нибудь объясню... О, Господи, что я, зачем! О чем я?!.. О, Господи, Боже ты мой!

Он бормотал себе под нос, шёл, опустив голову, взмахивая тростью. От жестяного шарканья его шагов по каменистому просёлку из дворов со щebetом взлетали стайки весёлых синиц и долго потом счастливыми пёстрыми зонтами каруселили вокруг усадеб.

— Она всегда приносила мне несчастье, — сказал громко Эдуард Аркадьевич. Наконец-то смута его души, вызванная сном, оформилась в мысль: — Да-да, и болезни, — он нагнул, потёр ладонью разболевшую ногу. — Всегда!

Тут он увидел белое сухое бревнышко у обочины дороги и, проковыляв немного, поднял его. Бревнышко было лёгким, тёплым от солнышка, а запахом чуть горчило. Он прижимался к нему щекою, и оно некоторое время грело ему ухо. Рука уставала, и плечо под бревном саднило, но Эдуард Аркадьевич стойко переносил боль. В его дворе уже щепки все были сожжены.

До леса далеко, а усадьбу рушить Иван запретил. Да он и сам за годы проживания в деревне научился относиться к брошенным дворам как к живым, определяя их характер и иногда разговаривая с ними. Одиночество всему научит. Что делать! С кем-то ведь надо разговаривать!

Добравшись до своего двора, Эдуард Аркадьевич оглянулся на деревню. Оплывающее сумерками небо уже застило крайние усадьбы. Закат был бледен, млея ясной полоской над побелевшим лесом. И деревья, как всегда на закате, вдруг подобралась, сжимаясь в плотное стадо, поднимая к небу коньки над крышами. Эдуард Аркадьевич, как выброшенная рыба, хватанул воздух и заскочил в свой двор. Даже про боль в ноге забыл на секунду. Сел отдышаться на завалинку, похлопал по пустому карману, нервно пошарил в нём, нащупывая крошки табака, и, не найдя их, понохал палец, который больше отдавал затхлостью его сыроватого кармана, чем табаком. “К Дубу поеду, — с тоской подумал он. — Хватит! Сдохнешь тут. Вон та дура сожрёт”.

Клеопатра — серая крыса, — как всегда, вышла ему навстречу, вращая своим суетливым носом, взглядывая на него умными едкими глазками. Она сделала на его глазах обычный “круг почёта”, потом встала напротив, ожидая подачи. Гостинцем он и приручил её когда-то, ещё в те жирные времена, когда скармливал ей остатки сыра и кружочки колбаски. Крыса оказалась умной, злобной и наглой. “Когда-нибудь на меня кинется, — подумал он, глядя на её беспрестанно вибрирующий нос. — Сколько же ей лет? В переводе на человеческий, наверное, столько же, сколько мне. И Клеопатра ли она?! Скорее всего Клеопатр, крысят я не видал ни разу!..”

— Ну, чего, дура, уставилась? Я сам жрать хочу, — сказал он ей своим очужелым голосом, которого иногда в бездне своего одиночества пугался. — Сожрала мою картошку. Сlopала, не подавилась... Падла!

Крыса, словно поняла, юркнула в огород, и Эдуард Аркадьевич, глядя на ржавые остовы картофельной ботвы в конце огорода, подумал, что картошку выкопать всё-таки надо. Семенной её ещё весной дал ему Иван. И помог вскопать огород, и Эдуард Аркадьевич с азартом и гордостью ухаживал за нею, ползая на карачках, чтобы руками выбрать проклятый мокрец. В сентябре он накопал два куля картошки и, решив, что ему её хватит теперь на жизнь с гаком, забросил деляну и не выходил в огород. Но Клёпа подобрала картошку быстро. Да и ему, как прижало, пришлось на картошке одной сидеть, он и подбел её. Так что оставалось всего с полведра. Это единственное, что осталось у него из еды. Благо, что на днях, роаясь в шкафу, он наткнулся на увесистый свёрток из старой мешковины. Оказалось, соль, которой он ещё той зимой прогрел себе поясницу. Коричневая от перегрева, землистая, но солёная. Он наслаждался ею два дня, соля картошку и остатки сухарей, которые обнаружил на печи у самой трубы, на притуле под потолком. Вернее, сыскала их Клеопатра, и он, услышав хруст, огрел её палкою — впервые за все годы их жизни. Крыса не появлялась в доме дня три. Потом пришла, осторожная и злая... А картошку он докопает!

“Завтра! — решил он. — Не пойду больше на дорогу. Мимо деревни не проедет Иван... Чего зря ходить! Завтра буду копать картошку. А то сдохну с голоду”, — у него всегда так: три думки на уме. И все разные. Глазницы Сапожниковского дома уже загорались холодным закатным огнём, приобретая страшную и живую осмысленность. “Нет, — перерешил он, — к чёрту картошку, Ивана!.. К Дубу! К Дубу!” — понохал ещё раз палец и пошёл в дом.

Как ни мало было бревнышко, а печь согрелась, и вода вскипела, и сварилось несколько картофелин, которые он съел с грязноватой солью. Попил кипяток с сухариком. Последний сухарь — коричневую засохшую корочку — оставил на столе, заботливо прикрыв её полотенцем. Ещё оставалось несколько картофелин. На завтра. Вечера Эдуарда Аркадьевича проходили при луне, если появлялась она в неверном свете крупных северных звёзд. Керосин кончился давно. Его привозят в Мезенцево по четвергам, но нет денег и Ваньки, и нет здоровья, чтобы добраться до Мезенцева и выпросить у здорового усатого бугая-шофёра литр этой вонючей жидкости. Но всё же вечер с мягким теплом от пусть плохо, но вытопленной печи и светом громадной

луны был хорош. Эдуард Аркадьевич посвистел Клёпу, но та не пришла, и он глянул в окно на серебристый от лунного света, уже мерцающий первыми морозцами, какой-то отчуждённо-похорошевший двор. Луны ещё не было видно, вот-вот выкатится из-за сопки, страшная от своей громады, ослепительная, зияющая. Она не даст спать всю ночь, живым ковчегом передвигаясь по высокому стройному небу. Только здесь, на севере, в краю этой суетно-ленивой реки Лены бывают такие луны, такие звёзды и солнце.

“Страшно, да, страшно! — думал он, ковыляя от окна к окну. Страшно оттого, что вот-вот грянет ранняя северная зима, властная и немилосердная... Скоро, скоро! А топить печь нечем, а картошку крыса сожрала... И Ивана нету. Надо выезжать. — Завтра, — решил он. — Завтра уеду! Доковыляю до Мезенцево. Там, глядишь, попутка, и к поезду! А в городе я не пропаду... Там хоть в подъезде, да перезимую...”

Он, конечно, в такие минуты помнил о сыне и Софье, но тяжесть вины перед ними и их милости к нему казались ему несносными. Он не мог долго жить с родными. Дуб — это другое дело! Друг старый, шестидесятиковой закваски. Такой же бессребреник и пьяница. Только с собственной крышей над головой.

— Уеду, — решал он в который раз. — Завтра!..

* * *

Уснул он быстро и старательно, пока грела печь, чтобы выспаться в тепле. Проснулся, как всегда, от холода. Ноги затекли, и большая нога не повиновалась ему. Он размял её в воздухе и опасно спустил на ледяной пол. Боль стреляла в пах и так сильно, что он гнулся и почти плакал, но всё же прошёл по заиндевелому полу, белому от лунного света, глянул в кухонное оконце на белый мертвенно-недвижимый двор и судорожно вздохнул. Громада луны, шевелясь и блистая, нависла напротив села над горою так низко, что можно было различить остатки листвы на маковках березняка. Чуть вдали молчаливо млели серебристые сопки, но там, за гранью этого нежилого света, — тьма-тьмуца, не спасаемая неверными и редкими ныне звёздами.

“Дьяволово солнце, — подумал вдруг Эдуард Аркадьевич и быстро перекрестился. — Точно — оно, — додумывал он, быстро отходя от окна, — подменное... Настоящее-то всё видать до края. А это — от сих до сих...”

Он походил по дому в поисках тёплого тряпья. Нашёл старое махровое полотенце, обмотал колено. Потом надел ватную безрукавку, смастерённую Иваном, обмотал давно валявшейся на полу наволочкой голову, на наволочку натянул вязаную шапочку, которую Иван звал “пидоркой”, и лёг. От тряпок тепло не стало, но спать всё же захотелось. “Хоть бы ты приснилась мне, — сказал он мысленно. — Пора! Пора... Осень на исходе!”

Она снилась ему чаще осенью. Может, потому, что он думал, что она умерла. А осенью воздух истончается, рассуждал он, потому и синеют реки, и душам легче возвращаться в сны живых. Это было его собственное открытие, и он им гордился про себя.

И она приснилась ему к утру. Как всегда, чуть изменившаяся, ещё больше похожая на его мать. В жизни они были совсем разными, но в снах как бы срастались.

— Как надоел ты мне, — сказала она ему с досадой, облизывая острым кончиком языка капризную свою верхнюю губку. — Когда ты только от меня отвяжешься!

Потом она прошла по странному тёмному полу, которого он не знал в своей жизни, достала из шкафчика сковородку, поставила её на стол и разбила в неё яйцо. “Яйца, — подумал он во сне, — явится!” И заволновался, просыпаясь. И тут же усилием воли вернулся в сон и увидел, как она смотрит в окно, утирая о бока юркие свои ладошки, переворачивая их утицами, то с тыла, то с ладошки. Это её жест, от которого он долго отучал её, но не отучил. Оттого бока её одежды всегда были размытыми и застиранными. Он волновался во сне, ожидая поворота её головы, когда он, наконец, вновь

увидит её лицо и глаза, и выражение той радости, с которой она иногда встречала его. И она оборачивалась, изменяясь лицом, как часто бывает во сне. У неё по-лисье остро и вперёд вытягивались и нос, и подбородок. В ней и при жизни-то было что-то юркое, лисье, изворотливое...

— Надоел, — брезгливо повторила она. — Таскаешься за мной... по всей жизни. Хватит уже...

— Неправда-а-а! — с натугой и волнением крикнул он, чувствуя боль в сердце, и от этой боли проснулся.

Некоторое время он лежал, не шевелясь и глядя в потолок. “Почему я не сказал ей главного? — подумал он. Побелка потолка пузырилась и отваливалась серым крошевом. — А что главное, что?!.. То, что жизни не было! Ни с нею, ни без неё?!”

Крошка извёстки попала ему в глаз, и он векочил, сел, отчаянно промаргиваясь и растирая кулаком глаз до боли. Тут он увидел крысу, волочившую на спине тряпицу со стола.

— Клёна, курва! — крикнул он и кинулся за нею.

Крыса юркнула в свою дыру в углу, забив её тряпицею. Эдуард Аркадьевич кинул ей вслед свою “пидорку” и застонал от боли в ноге. Стрельнуло так, что стоял с минуту столбом. Потом осторожно вернулся на свою лежанку и сел, тупо глядя на грязный холодный пол.

— Ты всегда приносишь мне несчастья, — сказал он женщине во сне. — Всегда!

В окно плескался жиденский, как спитой чай, сиротливый октябрьский рассвет. Уже били первые утренники. Облезлую шёрстку поздней травы выбеливала нежилая, как известь, крупка инея. Дыхание парило, и сырой холод проникал сквозь одежду. Эдуард Аркадьевич передёрнул плечами и встал. Хошь не хошь, а скакать нужно. Двигаться. Ведь так и помрёшь на холоде. Он тоскливо глянул на окно, где под сырым ветром трепетал на берёзке остатний жестяной лист.

— Это всё из-за тебя. Ты, ты виновата, — сказал он в пустоту, нагнувшись за своей тростью и вышел на улицу. Всё было серо, стыло, мертвенно. Земля каменела под ветром, и от промозглости у него немедля повело ногу. Эдуард Аркадьевич уныло оглядел двор в поисках полена, потом остановил глаза на сухом лиственном стояке, подширавшем прясла ограды.

— А, все одно уеду, — решил он, — завтра!

Столбик подгнивал уже у земли, но всё ещё был крепкий, рубился со звоном, как железо, горел жарко, и плита раскалилась до малины и искрила. Сразу потеплело в доме. Вода вскипела, и Эдуард Аркадьевич выпил два стакана кипятка, поминая вчерашний сухарь. Картошек он сварил себе семь. На весь день. Три съел сразу, потом посомневался и решил:

— А, все одно уеду, — и съел ещё две. — Или умру, — добавил он, поднял грязную тряпицу над норою Клёны. — Курва, — сказал он в дырку. — Так-то за моё добро и мне же в ребро... Ско-ти-на!

Нора отозвалась затхлой сыростью. “Забью, — решил он. — Тепло выходит. Хватит... Погуляла, попировала и будет...” Он вспомнил, как в те сытые времена, пижоня перед гостями, он, с барственной снисходительностью перебирая бархатистые ещё в те времена тембры своего голоса, провозглашал: “Клеона, будь!” — и крыса появлялась под визг и умиление душистой, лоснившейся летним жаром и праздностью, сытой-сытой компании, и Эдуард Аркадьевич торжественно скармливал ей остатки сыра — Боже мой, сыра! Он и вид забывал сейчас этого божественного кушанья.

— Курва, — ещё раз напомнил он крысе, где-то затаившейся в чёрных глубинах дыры. — Я тебя кормил годами... И не тащил твоего, пахла... — он подумал и прикрыл кастрюльку с картошкой старым чугуном.

Утро между тем не дремало. Уже совершилась перемена к свету в дымчатых небесах, и первые прострелы солнца окрасили пошарпанное дерево подоконника ржавым утренним медком. Эдуард Аркадьевич проковылял до порога. В сенах ногу заломило. Он было хотел вернуться, но солнце нежно обдало кожу лица, и он вышел и сел на завалинку, долго и бездумно глядел вдалёку на светлеющую синьку неба, туда, куда смотрела она во сне, и куда

ушла, испулавшись его пробуждения. Она всегда уходила от него. Ускользала из рук. В последнюю их встречу сказала:

— Завтра приду. Жди!

А поезд её был вечером того же дня. Он об этом потом уже узнал. Через много лет.

Вот в такую же осень они встретились. Шестидесят первого... Боже мой! В самом начале того блаженного десятилетия, в которое он вступал молодым и красивым, как греческий бог. Был он высок и собран, строен. Носил светлую бородку и косыночные галстуки. Их подбирала к его прозрачным соколиным глазам мать. Светлый и густой волос стриг ежиком. В общем, весь авангард шестидесятых — полным набором... Уже выросли из “стиляг” и рок-н-ролла, но подходили к главному в шестидесятых. Тому, о чём Гарик, вожак их плотной, сбившейся стайки, загадочно умалчивал. Он вдруг останавливался посреди разговора. И все замолкали. То, о чём умолкал он, таинственно кривя полные губы в бархатистой бородке, было почище узких брюк и КВНовских острот, которыми они наповал сшибали провинциальных девиц, мечтательно дежуривших в городском парке с томиками Блока. Друзья не знали — догадывались по ухмылкам Гарика и жёсткому, вдруг остановившемуся взгляду, что грядёт. А что грядёт? Перемена! Готовится. И что он, Гарик, а через него и они — участники этих грядущих и великих событий. Все они — незримые работяги, гномы преисподней, каменщики будущих времён.

Этот Гарик, развевшийся, с больной от перепоев печенью и глазами, вздутыми, как пупки, сейчас в Израиле. А тогда он был очень даже ничего. Плотный, как бобёр, с густым каким-то лицом, кожу аж подсинивало. Как интеллектуал он правил стайей! Умело, ненавязчиво. Иногда Эдику казалось, что Гарик знает всё. Это “все” охватывало тогда только один интерес — диссидентство. Именно этот вкус неприятия близкого щекотал нервы, бодрил дух и окрылял их молодую бойкую компанию. Как их захватывала тайная ночь с рукописью “Архипелага ГУЛага” Солженицына! Крепче, чем с женщиной. Этот передаваемый друг другу на ухо, как тюремная морзянка, шёпот о “наших победах”... “о наших”... Этот высокий — всему наперекор — вольный ветер бунтарства... И дружба прекрасная, как сон. Плечо к плечу, — так разваливали они этого чудовищного монстра, эту империю зла... Сил было много. Казалось, они бы развалили и весь мир, как об этом мечтал Троцкий, их незримый ангел. Это называлось у них “внутренний реквием”. Вот в вихре этих магических противостояний, реквиема и бунта, закодированных посланий от Сахарова и “Б”, явилась Лялька. Земная, плотная, с крепкими орешками чуть удлиненных братсковатых глаз, маленькая, сбитенькая, с бойкими локотками и неповторимыми гортанными звуками, которыми она непостижимо образовывала свою обрывистую резкую речь. Кто бы назвал её красавицей! Её милость — и та была не бесспорна. А её ужасные манеры! Эта привычка вытирать ладони о плоские свои бока, сначала тыльной, потом лицевой стороною, и при этом всегда облизывать острым кончиком языка верхнюю приоткрытую, как у зверушки, губку...

Тогда стоял такой же октябрь, тёплый, только сытый, когда они крепко спитой компанией вывалились из дубовского дома, где ночь читали стихи, кричали до хрипоты, где перепились дешёвого в те времена красного вина. И уже подкатывало к голове похмелье, когда наткнулись в старом парке на пивной ларёк, где и восседала Лялька, невыспавшаяся, равнодушная ко всему на свете, в помятой наколке и с грязно-увядшим бантом серого застиранного фартука. Звонкой россыпью зазвенела в руках собираемая мелочь, но её было мало. Гарик жертвенно подтянул к кадыку узел своего современного галстука и, облокотившись на стойку, вдумчиво проворковал:

— Мадам, уже падают листья...

Буфетчица глянула на него как на муху, деловито пересчитала высыпанную мелочь и сказала:

— Бог подаст! Много вас тут шляется!

Она налила им одну кружку пива — жиденькой мочи, и, вынув зеркальце, свершила свой жест, отерев ладони о бока, облизав верхнюю губку.

— Классика, — грустно обронил Гарик, отпив несколько глотков и передавая кружку по кругу. — Ты знаешь, Эдичка, Россия удивительно гармонична. Даже в пиве: и не дольёт, и разведёт, и пальцы грязные...

На это Лялька треснула его тарелкой с оставшейся мелочью, которая куржаком сверкнула по холёной бороде Гарика.

— Наглые какие, — гаркнула она. — Топайте-ка вы, пока я милицию не вызвала...

У неё был муж. Лётчик, говорила она. Врала она легко, бессмысленно, походя. Он сердился и смеялся, и не обращал внимания. Он долгое время считал, что их связь несерьёзна, и каждый раз, когда она уходила от него в свою семью, где лихо пил водку её муж, слесарь домоуправления, он думал, что всё, это последняя встреча и пора за ум браться. Но проходило время, а он всё больше привязывался к ней, и тянуло его, и тянуло к ней. Уже узнала об их связи (а он от них её тщательно скрывал) вся его братия, которую она, кстати, все эти годы поила пивом и кормила за счёт “пены”, как говорила Лялька. И он пережил смертельную иронию Гарика, и упрёки матери, и Дубовы улыбки, и ухмылки Октября. И всё тянулось, тянулось. И он уже и не мыслил жизни без неё. Она стала его дыханием, его частью. Он уже поговаривал о женитбе, и тут она исчезла. Помахала гладкой ручкою, и всё.

Сработали Марго с матушкой. Это он уже после узнал, когда разводился с Софией. Конечно, его рассудительная мать никогда бы не примирилась с такой беспородной невесткой. И что они с Марго могли сказать такое Ляльке, что она бросила и его, и город, и уехала?!.. Куда-то в Николаев...

Солнышко растеплило, растворило воздушные силы. Даже на губах потеплело. Иней спал, трава под ним посвежела, зеленела младенчески чисто, и румянился под ногами уже и по земле поредевший лист. “А, Бог с ним, — подумал он, — сегодня я ещё проживу. А завтра...” — он махнул рукою.

Увидел Клёпу, деловито елозившую возле баньки, подумал, что из бани на зиму хватит дров и вдруг вспомнил: в детстве увидел, как его отец Аркадий Васильевич, — Аркаша, по-маминому, — благодушный, румяный, весь какой-то сияющий и свежеиспечённый, сидел рядом с матерью, слушал зашедшего на огонёк соседа и, радостно всплётывая перед лицом пухлыми оладушками ладоней, залиvisto, до вехлипа вкликивал, и прятал, не стесняясь, своё лицо в материнских коленях, добротных уже к тому времени, широких и плотных, покрытых тёмной саржею складчатой юбки. И когда отец поднимал своё лицо, оно было розово-детским и совершенно счастливым. И Эдичка понимал его. И сейчас понимает. И как его рассудительная, такая прозорливая во всём маменька, так бдительно устилавшая ему подушечками и ковриками начало жизни, как она, со своими райскими коленями, не смогла понять, в чём счастье её сына?! И это она своею рукою сделала его самым несчастным и ненужным, и самым одиноким на земле человеком.

Эдуард Аркадьевич медленно поднялся, чтобы размять ногу. Но та стреляла нерестершию. Вдали начинался густой нарастающий шум. Это шёл верховик. Он пролетел над сопками незримо и мощно, выкручивая крону деревьев, и последние листья испуганными стайками разлетались во все стороны. Медленно кружась, они опустились ему под ноги. От этого шума над деревней у него забирало под лопаткой. До озноба боялся он откровений северной природы, этой живой мятущейся силы, пронесшейся над ним, как над букашкой, — над ним, вроде бы царём природы!

И что там, и кто там, чья душа в этой стихии, зверя ли, человека, духа ли какого?! Нет, легче быть урбанистом, знать человеческое и не ждать никаких сюрпризов от этих облаков и ветра. Верховик загонял его в дом, он бессознательно торопился, прислушивался к отдалённо-нарастающему шуму, и уже ступил ногою за порог, как вдруг ясно различил в шуме что-то механическое. “Мотор, — мелькнула радостная мысль. Он прислушался. — Точно мотор!”

Не помня себя, Эдуард Аркадьевич развернулся и поскакал на одной ноге к воротам. Он скакал быстро, едва задевая землю другою, больной ногой и уже явственно слыша шум приближающейся машины. Надежда и радость распирали его. “Иван, Иван, — стучало в мозгу, — это точно он”.

Если это подъезжал Иван, то торопиться бы не надо, — остановится. Но могла проходить и “залётная” легковушка, и, глядишь, разживёшься куревом. А повезёт — и хлебушком, и старой газетёнкой, и всем, что Бог пошлёт. Только бы успеть! Боль огнём жгла ногу, стреляла до зубов, через пузо... У самой калитки он радостно подумал: “Успеваю”, — и, расслабившись, ступил на больную ногу, неловко подвернув её под себя, и боль, которая молнией вдарила в поясницу, прошибла его до зубов, и он плашмя полетел на землю и потерял сознание.

Клёпа привела его в чувство, укусив его за ухо. От укуса он перевернулся на спину и вернулся в память. Ушёл в сонки верховик, и проехала машина. Стояла прозрачная тишина, и свет солнца слепил глаза. Он боялся шевелиться, ожидая боли, но чувствовал, как холодеет от голой земли поясница, и осторожно сел. Поясница не болела. “Сегодня отравлюсь”, — подумал он, глядя в потемневшие ворота. От земли они поросли мокрецом, а на перекладинах до навёрший пробиты зеленовато-бурой плесенью.

Кое-где углы уже обросли трухлядью. “Сожгу”, — с удовлетворением подумал он.

Собственно, и травиться-то было нечем. Удвиться почерневшей верёвкой — уж слишком... Некрасиво! Найдут потом, раздувшегося, объеденного Клёпой.

Опираясь на руку, полегоньку встал. Постояв на одной ноге, осторожно опустил на землю больную. Ступил неожиданно для себя и удивился безболию. Постоял, прислушиваясь к собственному телу, ступил ещё раз. Не болит нога! Сделал несколько шагов — не болит! Осторожно дошёл до крыльца.

— Вот здорово! — подумал в слезах с умилением. Видать, нервы освободил. Щемило где-то. Не было бы счастья... Да Бог с нею, с машиной этой. Герочка, поди, шарил. До Егоркино добрался. Всё ему мало. От него вчерашним снегом не разживёшься... Не то, что табаком...

К вечеру верховик нагнал тучи, и дождичек, почти летний, сиротливый, как детские слёзки, потёк плаксиво, потом расстучался по крыше, разошёлся, и когда Эдуард Аркадьевич подрубал ещё один столбик на дрова, дождь колот его за воротом, как иглами, от дыхания парило, и нос подмерзал. У него оставалось семь картофелин. Он сварил пять и вскипятил воду. Кипяток он пил мелкими глотками, после глядел на серый, застлавший пространство мрак за окном. “Всё здесь не так, — думал он. — Всё не по закону... Так не положено... Если днём солнце, то должен быть ясный вечер, пусть утренник к рассвету, но вечер должен быть ясным”.

Он, Эдуард Аркадьевич, биолог по образованию, знает, что природа закономерна. Законы существуют, прежде всего, в природе, а потом уж у человека. И везде она закономерна... Только здесь, *на севере... диком...* она несмышлёна, как подросток. И творит, что ей вздумается...

Так он думал, слоняясь из угла в угол, наслаждаясь неверным и мягким теплом протопившейся печи, то и дело прижимая поясницу к припечку. Потом он постоял у Клёпиной норы и, вздохнув, вынул из прохода тряпье, веером разбросал его вокруг норы. Собрал со стола кожуру картошки и положил её у чёрного, отдающего холодным смрадом хода. Страшно просыпаться совсем уж одному... Всё живое будет копошиться... Харчить-то уж всё одно нечего.

Перед сном он разбил кочергой ещё тлеющие в топке остатки древесного угля, с наслаждением глядя на голубоватый букетик последних, крошечных искр. Потом закрыл подтопок и трубу и прикрыл дыру лёгкой картонкой. “Сдвинет”, — думал он, закутывая на всякий случай больную ногу старым махровым полотенцем, той же наволочкой, что и вчера, обмотал голову, затянув её “пидоркой”. Потом надел на плечи ватную безрукавку и, посидев на низком своем топчане, глянул в последний раз в окно, размытое от тьмы и дождя, и лёг, тщательно закутав себя затхлым тряпьем и расплзающимся от старости тулупом, окутал руки дырявым пледом и замер.

— Ну, — сказал он ей. — Приходи. Жду.

Сон не шёл. Он лежал, ощущая, как покидает дом тепло, и голова его была трезва и холодна. Встал, послонялся по гулкой пустоте дома, покашлял,

прислушиваясь к себе, посвистел у Клёпиной дыры. Иногда на мгновение с него словно спадала пелена, и он как бы с ужасом входил в память, спрашивая себя:

— Господи, да как же я здесь? Как я оказался здесь? Зачем... Я, Эдичка. Господи!

Он прижимал поясницу к тёплому кирпичу и глядел в окно.

Как легко и счастливо она начиналась, его жизнь! Сама шла в руки. Он никогда ни о чём не заботился. В детстве это делала мама, потом Лялька, Софья... Бабы валились ему под ноги и до Ляльки, и после неё. Оттого он даже не сразу-то и понял Лялькину пропажу. Была какая-то москвичка, ездила к нему два раза в год, уговаривая уехать с нею. Это уже после Софьи. Марго метала бисер, как кета икру, мутила воду ещё как... А уж потом! Чем старше становился, тем острее болело. Ну, не жениться же было на ней тогда! Сразу-то не допёр! Мать, Марго. Шум, гам.

— Брось, Эдичка, — сказал ещё Гарик, — это она сделала из любви к тебе. Ну, не пара она тебе. Баба, ничего не скажешь, хорошая, кормит хорошо, — он произвёл смачный звук своим чувственным ртом. Помолчал и крепко добавил: — Ну, не женятся на таких, Эдичка! Не женятся! В её отъезде больше любви, чем в твоей женитьбе на ней.

Он согласно кивал головой... Хорохорился... И когда в доме появилась долговая тогда Софья, практикантка из отцовской редакции, с горящими глазами под кобыльей чёлкой, он сразу согласился, что она годится ему в жёны. Мать знакомила его с присущей ей основательностью и тактом. Заманивала девушку незначительными просьбами: то поиграть ей на пианино, то ей понадобилась книга, про которую обмолвилась ненароком Софья, то она нарезала свежий и прекрасный букет, который ей так хочется подарить кому-то; Эдичка не оценит, а Аркаша в командировке... В загсе они стояли вровень, как молодые кони, и Гарик показал ему большой палец “с присыпкой”. Софья не была красавицей в молодости, но была интеллигентной девушкой, как и положено в еврейской семье. Живыми были только глаза — горящие, ненасытные. С годами она располнела, и полнота пошла ей впрок, в ней появилась значительность и почтенность. Глаза, правда, остановились и по-еврейски оскорбели. Эта скорбность сквозит во всём её мясистом породистом облике, молчаливо упрекая его за сломанную судьбу. Компания их к тому времени распадалась. Гарик улетел жениться, крепко и с расчётом, на дочери министра. Дуб второй раз разводился и мотался с камерой по области. Пил он тогда уже изрядно. Тогда пили все... Много, дёшево, счастливо...

“Крыса — и та меня бросила”, — подумал он, засыпая другой раз на постели. Спал тревожно, ожидая снов. Но не видел ничего, а проснулся к утру от холода. Сразу пошевелил ногой. Ничего. Только тянуло у бедра. В доме было светло, он скосил глаза вниз, увидел белые, в узорах инея половицы и квадрат окна на полу. “Я так и знал, — обречённо подумал он, — луна... падала...”

Он поднялся, сел, опустив ноги на ледяной пол. От холода его передёрнуло. Он встал, осторожно ступая на ногу. Слава Богу, нога не болела! Прошёл к печи. Остыла. И эта слепешарая нависала над окном, громадная, круглая, наглая и бесстыжая. В окно виднелся весь серебряный двор, драгоценно и холодно мерцавший. Вызвездило, и ударил сильный утренник, и берёза во дворе сияла застывшей капелью, как хрустальными подвесками. И он, глядя на всё это сказочное великолешие, вновь остро ощутил свою беспомощную одинокую старость. “Волк — и тот не один, — думал он, уставясь в непроглядь тьмы за лунным кругом. — Медведь спит, ему что... В тепле всю зиму, а тут... Господи! Как я здесь?... Зачем?... Я, Эдичка!”

Походив, он приоткрыл Клёпину дыру и решил:

— Завтра я или уеду, или...

Он снёс всё тряпье в доме на топчан и, сидя, решал: взять ли в руки топор и срубить ещё столбик, да растопить печь, или уж дожидаться утра? Позаботиться ещё вечером о заготовке дров впрок, хотя бы до утра, он не умел. С детства он знал только одно: “на сейчас”. А там — хоть трава не расти... Так уж счастливо ему и сытно жилось на свете добрую половину жизни...

О, Господи, Господи... Мама, мама... Знала бы ты, во что выльются твои заботы!

К утру, однако, он разоспался и придавил пригревшуюся крысу, которая недовольно кинула его в голень ноги.

— Ку-р-р-ва! — крикнул он, просыпаясь.

Долго сидел на топчане, пытаясь войти из тёплого сна в действительность, потом вынул перья из бороды и снял с головы наволочку, громко, сотрясаясь всем телом, чихнул и высморкался в неё. Ногу сценило от холода, и он разминал её вначале сидя, потом — осторожно ступая по ледяному полу и потирая укушенное место.

— Пад-ла! — сказал он громко и вновь чихнул. — Скоро, скоро... я вот. И ты сохнешь, пада.

Он вышел в сенцы, встал на крыльчке. Двор был весь в белой крупке инея, земля окаменела от заморозка, и крупные капли вечернего дождя звенели на белых и голых ветвях берёз. В косматом небе стаяла луна, белёсая и жалкая, вовсе не похожая на ту ночную ведьму. Эдуард Аркадьевич постучал по литому верху земли и сказал:

— Всё, издохла картошка! Помирать буду! — и пошёл в дом. “Лягу и всё, — думал он. — И всё, и пусть меня Клёпа жрёт...”

Он взял в руки ковш, пробил им ледок в ведре, сделал ледяной колючий глоток и вдруг увидел густой чёрный дым трубы Иванова дома. Вначале он остолбенело и бессмысленно глядел на него, потом закрыл глаза, открыл. Дым. Густой, клубящийся, пружинистый, какой может быть только у Ивана. Чёрный угольный дым! Эдуард Аркадьевич сплющил нос на стекле кухонного оконца, потом быстро вынул махровый от инея тряпичный култек из верхнего разбитого стекла и зорко глянул в дыру одним глазом. Дымилась, родимая! Эдуард Аркадьевич засуетился по дому. От радости сразу согрелся, даже вспотел. Скинул старые брюки, залез на топчан и достал такие же мятые, к тому же пыльные другие, потом надел на себя без всяких признаков цвета рубашку и дырявый в локтях свитерок. Глянув в толстый и тёмный от старости осколок зеркала, вмазанного в печь, он подскочил к ведру и, плескаясь на грудь, умылся. Всё это он делал нервно, суетливо, то и дело оборачиваясь к окну, словно боялся, что дым исчезнет. Он уже вышел за калитку, но вспомнил о трости, вернулся в дом и, ещё раз глянув в зеркало, мазнул тряпкой по отвороту плаща и, стряхнув с волос серое перышко, кашлянул и пошёл, твёрдо постукивая тростью по белой и каменной земле.

Иванов двор стоит в другой стороне от центра, туда, вглубь по пригорку, ближе к тайге и посреди потемневшего гурта ещё крепких, живучих усадеб. Иванов двор всё же выделяется и из этого пока безбедственного усадебного островка своей нерушимостью, матёростью лиственного сруба, плотной собранностью заплота, очерившегося перед разрухой крутыми своими щербатыми боками. В этом дворе отражался лик хозяина, его боевитость, основательность. Даже в дыме, упруго трубящем в белесое небо, был характер Ивана. У самого дома Эдуард Аркадьевич замедлил шаг, отдышался посреди стайки белых берёзок, глянул на землю, усыпанную, как жемчугом, стылыми каплями вчерашнего дождя, поднял свежую ладейку листа.

Капли, медленно оттаивая от теплоты ладони, драгоценно сверкнули под солнышком и затихли серой живой капелью. Эдуард Аркадьевич прослезился, судорожно глотнул холодного воздуха и вышел из берёзового прикрытия на дорогу. На него тут же налетела Белка, Иванова собачка, которую тот, выезжая в город, подсылал, как он выражался, в Мезенцево, к старухе Александре и её визгливому выводку. Туда же он сдавал кота Тишку, вынося обоих из Егоркино за плечами в рюкзаке. Белка лаяла остервенело, визгливо выславиваясь перед хозяином, хотя хорошо знала Эдуарда Аркадьевича, и он отмахивался от неё тростью. В калитку он постучал кулаком и сразу услышал дробную россыпь коротких, энергичных шагов.

— Это ты, Эдичка? — весело воскликнули во дворе.

— Это я, Эдичка! — в тон хозяину ответил гость.

Калитка размашисто распахнулась, и Иван, коренастый, крепкий, хорошо сбитый, радостным жестом пригласил его в свой двор.

— Пра-а-а-шу.

Эдуард Аркадьевич прикашлянул от торжественности момента и, не успев шагнуть, очутился в цепких тисках Ивана, который мял его добродушно, крепко, с наслаждением. Белка то рычала, то повизгивала, крутя калачом короткого хвоста.

— Пусти, медведь. Сломаешь ведь.

— Ну, куда там! Кость крепкая ещё. А отоцал-то как! Хреново жить без Ваньки-то?!

— Да уж... — Эдуард Аркадьевич поперхнулся от близких слёз, но сдержался и только глотнул сладковатого воздуха, жадно оглядывая соседа.

Иван стоял перед ним бычком — всегдашней своей манерой: головой чуть вперёд, как бычок. Весь крепкий, крутопузенький вид его с дробно-сидящей головой, с бугристыми плечами, вздыбленными белеющей холкой волос, устойчивыми, как бы гнутыми ногами напоминал крепкого норовис-того бычка.

— Ну, давай, давай, входи. А я утречком пробежал мимо твоей хаты, думал — дай, разбужу, — а потом, думаю, нет, вот натоплю, нагрею дом, наварю-напарю, и мы сядем двоечком и жажнем, брат, по рюмашке.

Проходя по двору, Эдуард Аркадьевич ревнивым взором оценил свежую горку берёзовых полешек, весёлых и звонких, каких-то Ванькиных, и даже изогнутый топорик, всаженный в побитый чурбачок, весь был ловкий, играющий — Ванькин. Высокое крыльцо скрипело певуче, и когда Эдуард Аркадьевич шагнул через порог в дом, его обдало живым теплом, давно забытыми запахами горячей пищи; жареного лука, овчины и нагретого дерева — всем, чем пахнет хозяйский деревенский дом.

— О, блин, сгорело, — Иван с порога рванулся к печи, ухватил с раскаленной плиты сковородку, предварительно натянув рукав рубахи на ладонь, и кинул её на стол. В пузырящемся жиру сковородки скворчало уже почерневшее сало.

— Долго тебя не было, — сказал Эдуард Аркадьевич, кашлянув в кулак.

— И не говори! — Иван аккуратно выловил ложкой из жира сгоревшие шкварки и закинул сковородку на край плиты, где она заскворчала с прежним шумом.

— Раздевайся, чо ты, как сирота?! Располагайся, я щас.

Он раскромсал лук кривым охотничьим ножом, бросил его в сковородку, отчего она зашипела, ровно взбесилась, и сразу так запахло, что у Эдуарда Аркадьевича начало мутиться в глазах. И когда Иван, усадив его за стол, поставил перед ним чашку, дымящуюся мясной похлебкой, и он услышал забытый звук разливаемой водки, что-то крепким комом встало у горла. От избытка чувств это что-то заклокотало у него в горле, но Эдуард Аркадьевич сдержанно посмотрел в чашку и шмыгнул носом.

— За встречку, Эдичка, родной мой! Падала ты паршивая. Как я за тебя переживал! Небось, прижало? А? Без Ваньки-то...

Эдуард Аркадьевич часто замигал белесыми ресничками и отвернулся.

Водка ударила в голову сразу, а еда ослабила.

Он ел без разбору, всё, что подкладывал и подставлял Иван, не чуя вкуса и удивляясь этому, и огорчаясь этим. За похлёбкой последовала яичница, и было ещё сало с хлебом, и картошка с омулем, и он пил чай с молоком и глядел в круглое свежее лицо Ивана, удивляясь его крепости и энергии. Осень жизни едва начиналась у Ивана, и, похоже, он собирается продлить её подольше. Лицо у него ещё румяное, без морщин, свежо лоснится. Сиди-на уже пробивает суровый ёжик волос, но облагораживает его. Он не стареет, а как бы подбирается-поджимается, становясь все упруже и суровее. Ещё в доперестроечном раю Эдуард Аркадьевич встретил Ивана живущим вразвалочку, добродушным, растекающимся, беспечным, как птичка. С годами он становился собраннее, злее и деловитее.

— Долго тебя не было, — вздохнул Эдуард Аркадьевич, оглядывая на топлённую домовитую кухонку хозяина.

— И не говори, — Иван ел смачно, с выбором, вкусно отправляя в рот перламутровые куски омуля плотной горбылистой лопаткой руки. Глаза его

синё туманились, желваки ходили ходуном, плотная здоровая шея порозовела, и Эдуард Аркадьевич подумал, что Иван ещё хоть куда, хотя никогда красавцем не был. А вот он, Эдуард Аркадьевич, был красавцем...

— Влюбился я тут было, Эдичка... Да! И такая попалась, я тебе скажу, штучка. Мяконькая, вся такая светится. Говорит ласково, разумно. Я сначала не понял. Чуешь, Эдичка, я даже не понял, что я, старый осёл, влюбляюсь, как школьник. Потянуло муху на мёд, нет, представь себе, спать перестал. Как в омут кинулся. Чуть было голову в петлю не сунул... Женюсь, думаю, а что!.. Квартирка у неё уютная. Кухонка там, пельмени. Сама... понимаешь ли... того. Размечтался, короче! Да и бабёнка вроде не прочь головушку ко мне приклонить. Ластится, понимаешь ли. Ну, всё, всё! Она уж ждёт предложения, и я готов! Завтра, думаю, пойду. Цветочки кушил, дурак. Полпенсии угрохал. А ночью, понимаешь ли, проснулся. Луна, эта стерва, в окно. И такая меня тоска обуяла! Беда! Тебя, брат, вспомнил. Видать, припекло тебя здесь! Егоркино, животину свою. Домишко мой. Она ведь сюда не поедет. Она, брат, другого сорта. У неё чистота, кастрюльки, переднички, дачка... Она в оперетку любит сходить. Сериалы эти смотрит. Она мягко стелет... Каково доживать придётся... Едва доворочался я до утра. К первому автобусу, к пяти утра — уже на автовокзале, и тут. В Мезенцево ещё заскочил, отоварился у Клавочки — круп набрал. Старушка моя Александрица бычка заколола, вот мяска у неё прихватил. Вкусно, Эдичка!

— Ну-у, — Эдуард Аркадьевич вновь крикнул горлом, сам удивляясь себе.

Иван значительно глянул на него и тоже крикнул:

— Прости, брат, задержался я... Самого припекло. Сам, поди, понимаешь, как баба в оборот берёт.

Эдуард Аркадьевич кивнул головою и вздохнул...

Печь жадно гудела. Малиновый жар калил плиту и духовку, в белесые оконца лился белый осенний свет, и крохотная кухонка Ивана высветилась, помолодела, и Эдуард Аркадьевич вновь узнал особый хозяйский порядок этого дома. Иванов домик, как и Егоркинские, как и вообще все ленские домики, низок и тесен, только жить — места хватает. С секретами домоч. Они встроены в какие-то особые объёмные углы и в шкафчики, подполье в рост, через весь дом, по которому можно пройти, не сгибаясь, морозильнички под порожком, потаённые и прохладные кладовочки... И во всём обихоженность, порядок и нерушимость. Красный угол с толстой перекладной тёмной и прост. На плотном и толстом дереве — крошечная иконка с потемневшим от времени ликом не то Спасителя, не то Николы — одни глаза и видать. Под иконкой — две веточки вербочки и пучок засохшей ромашки. Мебель в доме — ещё родительская. Старый комод с узорными ручками, кровать никелированная, с медными набалдашниками, скамья у стены и круглый стол под узорным зеркалом с потресканным и тёмным стеклом. Половицы у порожка уж выщерблены, и краска поистерлась в самой сердцевинке широких крепких плах. На кухонке у колченогого стола — старинный, под потолок, шкаф: массивный, усядистый, с буферами и высокими, как выражается Иван, “прибабахами”. На столе — швейная машинка, ещё зингеровская, на которой Иван и шьёт, а больше латает свои вещи, в углу стоят два горбовика: один — железный, другой — из берёсты. Под подоконником в горнице — полка с инструментами Ивана, как бы крошечная столярка. Все эти вещи, немислимые в городской квартире или в доме, где хозяйствует женщина, колют глаза, создавая неуют, но это есть особый Иванов порядок, и передвинь горбовики или уберь “столярку”, он потеряет покой и рабочее своё состояние. Над кроватью висят портреты родителей в массивных чёрных рамках. Таких портретов Эдуард Аркадьевич много видал по деревням в те свои шестидесятые. Но в его родительском доме портретов прадедов не висело. Мать увлеклась авангардом. Висел Пикассо в иллюстрациях. Комоды и буфеты были уже выброшены. Их заменяли серванты, кресла... Всё без “прибабахов”...

— А тебя-то я вспомнил, Эдичка! Вот как бы ты без меня сейчас?! Поди, верёвку-то мылил уже?

— Мылил!

— То-то! Все вы Ваньку хае́те. А как приспичит — дак к Ваньке!

Эдуард Аркадьевич осторожно кашлянул.

“Начинается!” — недовольно подумал он и тоскливо глянул на Тишку, старого kota, дрыхнувшего под духовкою.

— Чо там Иркутск? — вяло спросил он, помолчав.

— А чо ему сделается! Такой же. Два дня в нём пожить даже интересно. На третий чувствуешь в себе первые признаки шизы. Крыша едет! Эдичка, нельзя жить в воздухе! Ты понимаешь, человечество понаделало себе могил — клетки эти, и как шизики им радуются! Живут, как бесы, — в воздухе. А русским — для нас это смертельно, Эдичка! А мы с тобою, как баре. Земли — сколь душа желает. Просторище! Тайга. Воздух — хоть ложкой трескай. Вода — чиста, что ангел... Друг мой, да разве такие земли бросать, — Иван нахмурился, потемнел лицом и крикнул, — кинули... ети их в душу... Всё покидали... Ну, давай-ко остаточки доберём и на волю. Стосковался я по Егоркино своему, сил нет!..

День разгулялся, выпендрился нарочно для Ивана. Солнце сияло, плавало золотой ладеей в небесной голубизне. Простор отдавал свежестью, грибной прелью, талой водою. Деревенька раздвинулась, соизмерилась, приняв строгий и стройный, почти жилой вид. Кажется, сейчас вскинется петух на пожелтевшем под солнцем заплоте, и за ним взлают собаки и поднимутся, и оживут деревенские живые оркестры.

Иван вышел на улицу без куртки, в толстом, вязанном кольчужкой свитере, только замотал шею длинным серым шарфом. Он покраснел от выпитого, погрузнел, ещё более набычился, но шёл крепко, забирая под себя чуть кривоватые, пружинистые ноги.

— Приветствую, Егорушко, — крикнул он на всю деревню. Из соседней усадьбы полетели мелкие птицы. — Эко простору. Всё наше, Эдичка! Хочешь, отдам тебе, как в сказке, полцарства! Вот поделим деревню: половину тебе, половину мне. А Сапожниковский пусть стоит — общий будет. Князьями заживём...

Эдуард Аркадьевич не разделял восторг Ивана. Убогая и брошенная деревушка казалась ему ещё более неказистой в великолепии осеннего света. Его распарила водка, разморила сытная еда, и хотелось вернуться в тепло и уснуть. “Чего по ней ходить, — думал он о деревеньке, — находился. Даром не натъ...”

Но он свесил нос и поплёлся за Иваном, всё трогая ворот своего плаща, словно этот жест мог оградить его от ветра. Иван шёл сквозь ветер головою вперёд, словно прорезал его. Он мог часами ходить по деревне, лазить по чердакам, заглядывать в бани, показывать углы и балки, с которыми, по его рассказам, связана вся его жизнь! И Эдуард Аркадьевич удивлялся, как много Иван облазил и прожил в детстве.

— Вот здесь, Эдичка, во, во, здесь! Я ещё в первом классе расшил нос. Расквасил его, будь здоров! На конюшне нашей сторожем был такой роскошный мужик, как я сейчас понимаю, дядька Сизов... Василий-ёлки-палки, как его звали. Одноручка после войны. Пьяница был горький. Царство ему небесное. Трубку всё курил. Трофейную. А у нас верховодой был Сенька Кум — татарчонок. Вот если он сволочь, то уж от мамки такой...

Эдуард Аркадьевич сонно кивал головой. Он уже не удивляется, что Иван сотни раз за эти годы показывает ему это место, бойко и со всё новыми подробностями рассказывая о том, как Сенька набил пьяному одноручке трубку порохом и поджёг, и как они бежали от Василия, и как Иван расквасил себе нос, а потом его выпорол отец, и он пострадал за татарина. Он уже знал, что от переулка Иван обойдёт деревушку, пересказывая на все лады жизнь земляков, которые покинули однажды с Богом эту сиротку-деревушку и растворились в могучей и мрачной ауре цивилизации. Иван крепко пружинил по деревне, широко ставя свои короткие криволапые ноги, подставив ветру красное, горячее лицо. Он цепко, по-хозяйски, словно своё подворье, осматривал деревушку, энергично орудуя указательным пальцем.

— Онюшки! Глянь-ка, у Таюра Веньки как угол дома повело. Подгнил листвячок, всё... Ты знаешь, этот Таюра таким был хозяином! Уж такой был

дошлый до работы. Минуты не сидел. Я его таким и помню — маленький, жилистый... Весь искрученный жилами. Руки вздутые от работы. Он всё бурвил по дому. Такой уж был жук, я тебе скажу... Ему не попадайся. Я один раз пробежал мимо него и не приостановился поздороваться, дак он мне уши так надрал, недели две горели огнём. Да-а-а... И уехал, — задумчиво добавил он. — Так он бился за этот дом... Столько сил вбухал... А собрался, шапку набок... помню, какой-то такой непонятный сидел на узлах своих... И уехал...

Иван прочесал пятернёю серебристый дыбок затылка, вздохнул и зашагал дальше.

— Это надо, чтобы бес вошёл в нас так, что вот бросить кровное... Одни огородины его что стоили. Ведь годами навозили! Они — огороды — как пух были — перинами. Земля чёрная, влажная. Стадо шло — земля дрожала, пыль столбом... Вечерами молоком пахло, старчеством. Они, старики-то, к вечеру вылезут на лавочки и сидят. Бабки в платочках, у стариков бороды белые-белые... иной раз чуть не до пупа. Ребятишки кругом, кони на лугу... — Иван остановился и вдруг сел на землю посреди дороги и замолчал. Эдуард Аркадьевич настороженно навис над ним. Он понимал, что этот обход добром не кончится, и нервно перебирал пальцами в кармане плаща, тоскливо взглядывая под солнцем в глубокую синеву остановившейся Мезени. — Бороды были белые-белые, — пробормотал Иван повтором... — Кони на лугу... А сейчас даже трава не такая — лезет по-жидовски. Серая какая-то, безрадостная. Не пахнет совсем. Цветы — и те не пахнут!

Эдуард Аркадьевич согласно и ожидающе вздохнул, и этот вздох раздражил Ивана. Он резко снизу вверх скосил на него синие пятаки своих глаз, вскочил и молча повернул к своему дому... Идя за ним, Эдуард Аркадьевич обречённо глядел в спину соседа, мускулы которой ходили, как желваки, и удивлялся мощной его живости — всегда и весь ходуном. Седая холка на голове Ивана дыбилась и шевелилась.

“О чём это он? — тревожно подумал Эдуард Аркадьевич, пристально взглядывая в его затылок. — И почему это я всё должен выслушивать!”

Он втянул шею в плечи и увидел, как засален и стар его плащ.

— Ты знаешь, в этом году птица ещё не летела, — робко сказал он, чтобы не молчать и перевести разговор на менее острую тему. Он знал всё, о чём скажет Иван, почти дословно. Эти разговоры бесконечные, и как он считал, однообразные, повторялись всякий раз, как сосед возвращался из города и словно впервые встречался с заброшенной деревней.

Иван молчал, двигаясь впереди всем своим живучим, ходким телом.

— Тепло будет, — неуверенно затихая, пробормотал он. — Ещё постоит... Раз птица не полетела.

— Во. Видал? — Иван резко обернулся и поднёс ему под нос кривоватую толстую фигуру. — Я тебе, жиду, под пятку земли не дам.

— Я “полтинник”, — добродушно заметил Эдуард Аркадьевич и помигал над красноватой дулей. — Замёрз я, Ваня...

— Никому я и на ладонь не отдам. Всё. Напродавался Ванька! Раздал всё. Теперь, как у латыша: хрен да душа!

— Латыши довольно зажиточный народ, — задумчиво сказал Эдуард Аркадьевич.

— Вот на этом горбу и зажиточный, — Иван похлопал ладонью по собственной холке. — Видал, как остался русский Ванька-то! А они — латыши — в войну на нашем хлебушке жили. Сколь их тут перебивало. Латышей да поляков. Мать, бывало, придёт с работы, а к ней уже эти... Эльзы... И суёт она им, и суёт... Хлеб-то из колосков по ночам пекли. Соберутся ночью у печи и гадают всё про Гансов своих... Напечёт мать, и сначала они едят, потом уж мы, ребятишки.

— Ганс — немецкое имя...

— А они кто?! Чем они от фашистов отличаются? Оперились на русских хлебах. Слушал я их в девяностом... Как они нас поливали! “Русские свиньи” — это ведь фашистское выражение. Я слышал его не раз в их устах. Не надо, Эдичка! Мы тут вдвоём... Тайга матушка, да деревня моя

мёртвая. Я перед ней врать не буду. Она, родимая, в войну кого только не приняла, не выкормила!

— Их сюда ссылали, Ваня!

— Правильно, Эдичка, жучок ты травоядный...

— Ну, что ты ругаешься? Ты не ругайся!

— Ссылали их на каторгу. Эта вот деревня каторгой была, где мать моя свой пожизненно-каторжный хлеб с ними делила. Они уехали и медалей себе на грудь повешали. Настрадались они! Страдальцы! Они эту деревню и мать мою, вечную каторжанку вольную, вспоминали, чтобы лишний раз пинануть её... цивилизованно... Латыши все эти, евреи... Эти вообще кровососы, а уж в России-то оне жирны!.. Как они нас презирают...

— Ты, Иван, националист!

— Да уж! И слава Богу! Поздно только я им стал, — Иван повернулся к редующим гольцам и неожиданно пронзительно свистнул, сунув пальцы обеих рук в рот. — Вот так, бывало, соберёмся по осени, Соловьёв-Разбойников из себя воображаем. Свистели до посинения, чтоб лист сыпался... И сыпался он, Эдичка! Как сыпался! Разве сейчас лист, — Иван вздохнул, — разве это лист!

Эдуард Аркадьевич согласно кивнул головою. Ему тоже казалось, что в детстве листья были ярче и плотнее.

— Побывал я в интернационалистах-то! Полакействовал вволю! Всех любил. Всё отдавал. Направо и налево. Страшное дело, я тебе скажу, гуманизм. Его та скотина, — он показал два пальца над головой, — рогатая придумала. Без этой силы нечистой не обошлось. Такое, брат, изощрённое предательство — всего и вся. Чадушко цивилизации, — Иван говорил это негромко и почти бесстрастно. Он замедлил ход перед домом и как-то снизил температуру голоса. Спина и та теряла свою живость. — Он — интернационализм — порождение вашей еврейской национальности. Это что-то вроде мясного фарша. Понимаешь — вот баран, корова, свинья, каждое животное отлично друг от друга, имеет свои особенности, неповторимо каждое. Смешай его и сделай фарш по вкусу, это и есть интернационализм.

— Фуй! Как грубо! Можно ведь и с букетом сравнить, — робко возразил Эдуард Аркадьевич.

Иван резко остановился и внимательно глянул снизу вверх на собеседника.

— Интересно! — вдумчиво сказал он. — Почему вы всё смешиваете? — Фарши, салаты... Щука фаршированная!.. Как будто щуку просто съесть нельзя. Интересно!

Эдуард Аркадьевич промолчал. Он знал, что возражать опасно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Он поднял ворот плаща и закутал в грязный шарф шею. Лицо его приобрело скорбное и торжественное выражение, и он глянул в светлое небо.

Дереvenьку они всё же обошли. Иван заходил в усадьбы, по-хозяйски оглядывая и подпирая ворота кольями, прикрывая ставни, осматривая колодцы и заходя в баньки. Движения его были деловиты, резки, решительны. Размах широкий, взор твёрдый и насупленный. Эдуард Аркадьевич, суетливо забегая перед ним, делал вид, что помогает; всё старался потрогать и приладить вослед ему. И всё делал робко, мелко, невпопад.

У последней усадьбы на подгнившей белой плахе скамейки погурили.

— Букет, — задумчиво сказал Иван, — букет. По-моему, это что-то нерусское. У нас венец... венок... веник, на худой конец. А?! Как ты думаешь, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич нервно передёрнул плечами и втянул в себя дым папиросы.

С реки уже резко тянуло стынью. Воды её посерели, свинцово и тяжело отливали под низким густеющим небом. Где-то далеко светилась под остатком солнышком сопка, и в наглежащих порывах ветра сухо крутилась палая листва. Земля присмирела перед сумерками, затихла. Пахло снегом...

Ночью Эдуард Аркадьевич проснулся. Он привык просыпаться по ночам и понимал побудку как стариковскую неизбежность, с которой надо смириться, как с болью в ноге. В доме было тепло и как-то насыщенно. Эту насыщенность Эдуард Аркадьевич очень хорошо понимал и знал её цену. Она состояла, прежде всего, из дыхания. Живого дыхания людей и животных. Иван ворочался и вздыхал. Белка вздрагивала и о чём-то повизгивала во сне. Старый Тишка сидел на подоконнике, вглядываясь в лунный полумрак морозной ночи. Они были живыми и рядом. Одиночество научило его ценить близкое и живое дыхание. Кроме всего, сытно пахло едою. Картофельной похлёбкой, луком, хлебом...

Луна уже отходила, наполовину скрылась за сопками, но отсвет её ещё был ярок и, пробивая белую занавеску окна, наискось прорезал половицы до Ивановой постели. Иван тоже не спал. Повздыхав, он встал и прошёл к печи, погромыхал задвижками и, закурился, встал у окна с котом — вглядываться в мерцающую темень. Эдуарду Аркадьевичу тоже захотелось курить. Он неслышно проскользнул мимо Ивана на кухню, длинная искажённая его тень скользнула по стене.

— Возьми спички, — не оборачиваясь, предложил Иван.

Кот недовольно потянулся и спрыгнул на пол. Эдуард Аркадьевич закурил у кухонного оконца, из которого луна ещё не вышла. Они молча курили в разных концах дома. Эдуард Аркадьевич чувствовал, как стынют ноги, и думал, что Ивану надо будет перебраться завалинку. “Странно, — подумал он, — почему эта мысль ни разу не пришла ему в голову о своей завалинке. Своей!” — тут же усмехнулся он. Любая изба Егоркина и близлежащих деревенек могла бы назваться его. Захоти только!.. Эх-ма... Как там Клёпа?!

— А я Верку во сне не вижу, — вдруг сказал Иван. — Я редко snyто вижу. И всё какая-нибудь дребедень. Иной раз так хочется хоть бы краешком глаза... Как там, — он заикнулся, чувствовалось, что ему перехватило горло. — Я ведь бил её, Эдичка! Да-а! Было дело. Я в семидесятых пил, как скотина. Помнишь, поди, те застойные-запойные?..

— Да и я сам-то...

— Вот тогда-то я и загулял! По-чёрному. О, брат, где разгулялся-то Ванька. Жизнь какая-то была... Дешёвая и мелкая. Как-то она уже чуялась — опасность... тревога, а где, откуда, ещё не могли понять. Застой — это ведь ловушка была. Затишье перед грозой...

— Да, да... А мы — шестидесятники!

Иван вразумительно и долго молчал, потом многозначительно кашлянул и продолжил:

— Поганое, конечно... Во мне, в основном, — он вздохнул. — Бабыя этого было! Глаза разбегаются. А тут придёшь домой — серенькая какая-то сидит. Щас, как вспомню, — мороз по коже! Вот ведь как я подонил-то! А она молчит, молчит... Детскими своими глазёнками лупит. Тот я ещё скот-то был! Ну, и напёшься нарочно, и “поддашь”... Слово тогда такое бытовало у нас — “поддаты”, — Иван глубоко, с надрывом вздохнул и сел на постель. Кот запрыгнул к нему на подушку и усиленно затёр лапой мордашку.

— Гостей намывает!

— Да, с того света к нам теперь только и придут.

— А ты боишься смерти? — вдруг, затаив дыхание, спросил Эдуард Аркадьевич.

— А чо её бояться! У меня там все — мать, отец, Верушка... Они мне там, поди, место потеплее уж приготовили.

— А если нет?

— Грехи-то родимые... В разные места попадём! Верка-то, может, и сробеет за меня слово замолвить, а матушка-то всё одно замолвит. Ты мою матушку не знаешь. О, она, брат, такая была вострушка, во все дыры, бывало, влезет. Никому спуску не дала. А за меня — в огонь и в воду! Она уж там поплачет обо мне. У неё грехов мало. Да и у Верки — одни страдания... Нет, за меня есть кому там заступиться! Да и я потому, может, и оставлен ещё,

чтобы их могилы обиходить... Чтобы не сиротели они на земле... Со всем Егоркиным. Завтра на кладбище пойдём. К Верке на свидание. Плохо, что у тебя здесь могил нет. Она, могила, держит всё-таки... Как маленькая церковь... Как-то собирает...

— А у меня и могилы Лялькиной нет, — горько подумал Эдуард Аркадьевич, — лежит где-то... одинёшенька... Я бы ей цветы рвал... — он почувствовал тёплые слёзы на щеке и, испугавшись, что Иван заметит их, отдалился от лунного света во тьму.

Лицо же Ивана под лунным светом изменилось, напряглось и вытянулось. Что-то мистическое появилось в его овечьем луною лице.

— Что мы всё о могилах... ночью, — неуверенно заметил Эдуард Аркадьевич и утёр слёзы рукавом рубахи.

— О могилах надо день и ночь думать. Помни о смерти! А нам с тобою и подавно! — он лёг на подушки, закинув руки за голову. Эдуард Аркадьевич прошёл к своему топчану и сел, глядя на Ивана.

— Это молодым трын-трава! Они летят по жизни. А мы ползём... с тобою...

Эдуард Аркадьевич сочувственно молчал и думал, что в житейских вопросах Иван всегда прав и точен.

— Мы с тобою, брат Эдичка, не из тех, кто приносил бабам счастье.

Эдуард Аркадьевич вздохнул и заносчиво спросил:

— А в чём оно, счастье?!

— Не, не в том!

— В чём “не в том”?!

— Не в том, Эдичка! Не в том! Знаю я ваши басни. В любви, скажешь...

— Ну, не только...

— Да!.. Ну, ещё вы всё человечество освобождаете... Со страшной силой... Всё его освобождаете... и освободить не можете. От кого и от чего только... От Бога, прежде всего...

— Ну, знаешь, Иван!

— Знаю, знаю! Счастье для вас... Всё какие-то порывы, всё ждёте его, гадаете, кличете. И всё новое... новизны вам хочется, свеженинки... Всё о любви толкуете, — Иван говорил равнодушно и просто, без обычной своей озлобленки, как давно усвоенную им истину. — За каждым поворотом её ищите... Как в той песенке: “Люблю тебя я до поворота, а дальше — как получится!”

— Ну-у, свежесть чувств, — промышчал Эдуард Аркадьевич, впрочем, просто так, чтобы не поддакивать Ивану. Он уже ловил себя на том, что старается всё угодить Ивану, подладиться под его тон. Даже спина ниже гнулась, и походка стала неувереннее. Так нельзя, решил он. За кусок хлеба... продавать идеалы! Никогда! Он на всякий случай кашлянул и глянул в окно. Луна ушла со двора, и двор померк, хотя небо приблизилось, и звёзды загорелись ярче. “Сам-то, — подумал он. — На себя бы посмотрел!”

Иван хмуро перевёл на него взгляд, помолчал угрожающе, потом продолжил:

— Всё это ваши еврейские утопии. Причём для гоев. Разрушительные... Сами-то вы своих баб до смерти бережёте... Ваши Сары, как в Библии, до глубокой старости... первые... Я сам, дурак, нахлебался в институте этой романтики поганой. Вот где, скажу тебе, ядовитая штучка! С Веркой мой здесь подростками сошлись, первые поцелуй наши были. Потом, когда, понимаешь, пузо-то нагрели, женился. Нет, я любил её тогда... Я помню. Я нынче шёл мимо Милешкина двора, вспомнил, как целовались у поленницы... И комок к горлу... Нет, я женился по любви. И мы жили счастливо... до института. А там понесло меня по течению. Забуровился, дурак, в Москву. Что ты — МГУ! Престиж, элита!.. И сошёлся-то я, по моему тогдашнему разумению, с эли-то-ой! Что ты! Самой отборной, мне казалось. Девочки — все сплошь жидовочки. Парни — интеллектуалы! Это те, что всех презирали. Это уж с такой издёвочкой. Тонко, изощрённо. А я чо! Валенок из Егоркино. Помню, у нас Илюша был Кремель, худой, носатый такой профессорский сынок. Он всё Пастернака читал. Торжественно, как клятву.

Они всех, как клятву, читали. Я с ума сходил от счастья. Прямо прикасался к звёздным мирам. Мальчик из Егоркино, из этого вот дома. Вот на этой кровати родительской и вылез на свет. Шёл в Москву, как Ломоносов, почти пешком до Иркутска, а там зайцем под лавками. Поступил — плакал от счастья!

— Ты на филфак?

— А как же! На филфак родимый. Любовь к мудрости. Да-с! Физики-лирики! Знаменитый, помнишь, спор. Мы их разили тогда со страшной силой.

— Да, да, — голос Эдуарда Аркадьевича немедля набрал силу. Сам он вдохновился и встал с лежанки, шагнул к окну, взволнованно вернулся к постели и снова сел. — Да, да... Я помню, — торжественно заявил он. — Как это всё было!.. Как всё было!

Иван холодно скосил в его сторону глаза и сквозь зубы выронил:

— Охолонь, Эдик!

Но Эдуард Аркадьевич уже не слышал ледяной иронии соседа, не видел бритвенной неприязни в быстром и отстранённом его взгляде. Его понесло, воображение воспыало мигом. Он вспомнил родную компанию, задиру Октябрю, Дуба, Гарика. Их бессонные ночи, споры, стихи.

— Как это было прекрасно! — прошептал он громко. — Да, тогда мы были правы! И любовь... Ты помнишь нашу тогдашнюю любовь, Ваня! Как мы любили! Как умели мы любить тогда! По-рыцарски!

— Ещё бы, — усмехнулся Иван, — как не помнить. Была у меня тогда... Лява... Лили-т-т-т! Лилечка! У тебя Лялечка, а у меня уж, конечно, Лилечка! Вот уж где рыцарство я проявил! И душу, и всё, что было! Разгружал ночами вагоны, чтобы с ней по Горькому пройтись. Душу-то она из меня вынула, пошла кровушки моей властью. Такая роковая стерва была. Рыжая, наглая, громогласная. А поразила меня тем, что носила браслеты и брякала на пианино. Когда она снимала браслеты на ночь, я ассоциировал всё это с блоковским — помнишь, там что-то “и звенели, спадая, запястья... громче, чем в моей нищей мечте”. Мечта, конечно, была нищая. А в то время моя Верка здесь жилы рвала, картошку продавала, чтобы мне деньги слать. Борова выкормила и всего в посылки затоварила. Учись, муженёк! Буду я за учёным мужем! Ждала и дождалась! Я приехал через год — разводиться! Достала меня Лилечка. И постелью, и Москвой, и культурой, и всем, и вся. Требовала законного брака! Помню, как поразило меня Егоркино после Москвы! Нищетою своей, какой-то убогостью. Верка в телогреечке! Пятьдесят четвёртый год! Хлеб, на домашней меленке молотый! Какие уж тут браслеты... Мать старухой казалась. А ей ещё и пятидесяти не было! Моложе меня сейчас бы почти на пятнадцать лет! Язык не поворачивался сообщить им о разводе. А та дура телеграммы плёт. То она меня никак не признавала, то, значит, одурела от любви. А ведь деревня! Почта-то в Мезенцево! Пока почтарь несёт до тебя эту телеграмму, три деревни об ней уже знают. В общем, мне и говорить ничего самому не надо было. Смотрю, Верка моя сжалась в кулачок и молчит. И молчит, и молчит! И батяня — все молчком! Мать только — завела меня за стайку и давай чехвостишь. По-русски, по-бабы, с матерком. Кобелина, мол, для того тебя в Москву послали, горбатились на тебя. Света белого не видели, куска не доели. “Ах, кобель недобитый... и растудыт твою деревню!” А меня гонор! Что ты! Я из Москвы... А тут под телятами меня оскорбили, понимаешь... — Иван замолк, с трудом проглотив накотившее, даже высморкался и изменившимся голосом сообщил: — Сволочь я был, Эдик!

Эдуард Аркадьевич молчал и ждал продолжения рассказа.

— Ну, я гордый, попёр из дому. Ни развода, ни любви! Два дня у дружка прокантовался. А там билет купил и назад... в столицу лыжи наострил. Утром, помню... рано-рано в Мезенцево пошёл. Оттуда автобус до Иркутска. А перед осенью, уже утренники первые, зябко так, просторно. Мимо дома-то своего иду — калитка звякнула. Смотрю: Верка с Коленькой — сыном нашим.

— Чего? — говорю.

— Мать послала.

Не надо было и спрашивать. Ясно, что мать послала. Идём, молчим. Молчит, дышит.

— Кольку-то, — говорю, — дома бы оставила.

А сам не беру. Она мне говорит тихо:

— Посмотри подольше. Не чужой ведь.

В автобусе молчим. Сидит в телогреечке, платочек на ней старушечий, руки тёмные, худые, в цыпках. Стесняюсь её. Вот, понимаешь, стесняюсь, сволочь такая! Она мне из Сибири посылки слала, деньги, чтобы я эту стареющую жидовочку — она меня лет на тринадцать старше была — в Арбатовские пивные водил, под сушёную воблу обсуждать достоинства Селинджера и стонать над Манделштамом. Верка в двадцать два года, кроме этой телогрейки, ничего и не видала, а я её стеснялся. Больше всего боялся, что она явится в Москву, в моё общежитие... На вокзале сидим, молчим, в поезд сажусь, говорю: “Прощай”. И глянул на неё. Белая стоит вся, а глаза синие, скорбные, отрешённые, губы сжала... Коляшку к груди прижимает. Поезд тронулся, а я смотрю на неё, она за поездом идёт с пацаном... Волосёнки её льняные выбились из-под платка... И так меня резануло! Как-то ударило... словно током... Я ведь любил её в первой юности до слёз... а это мужское... Права мать была... жеребятина наша...

Эдуард Аркадьевич слушал молча. Иван впервые так откровенно говорил с ним о семейной жизни. Он и не знал таких подробностей о семье Ивана, считал её пресновато-благополучной, сжившейся, как большинство семей, несмотря на Ивановы порывы раскаянья, время от времени прорывавшиеся в их пьяных беседах.

— И как вынесло меня из вагона. Волною словно кинуло к ней. Не помню, что и проводница мне кричала вслед. Поезд ушёл, а мы остались на перроне. Стоим и смотрим друг на друга. Взял я Кольку на руки.

— Пойдём, — говорю, — домой.

— И всё?

— Чо всё?! Ну и... загулял я после и здесь. Перевёлся на заочный... Бросил, конечно, Лилитту, выдергу ту. Она норовила даже приехать. Картинка, думаю, классическая была бы... Ну, а пил-то я лет до сорока... Пил и гулял... И уходил, и возвращался. Не мог я без неё. Не мог, и всё. А любовь-то у нас вот здесь началась, здесь и закончилась. Сюда-то как переехали с нею, вначале так — дача, не дача. Колька женился, квартиры нет. Вроде как тесновато с молодыми. Ну, и надумали сюда. Поездили — понравилось. Даже влюбились друг в друга, как в юности. С воспоминаньями да с одиночеством... Вторая молодость. А потом как из газеты-то твои демократы меня турнули, ну, мы уже и не выезжали. Хорошо хоть, кроме пенсии, акции эти поганые мне Васька, наш редактор, сделал. Хоть и получать их грешно — почитаешь эту газетку, как в лохани помойной искупаешься. Вроде как этими погаными акциями и причастен к дерьму вашему станувишься. Вот тут мы и дожили с нею. А вообще-то настоящей любовью я её только после смерти и полюбил. Когда вспомнил всю, как есть, от детства до старости, до последней минуты её. И понял, что я — гниль перед нею всегда был... А она всё выше и прекраснее...

“А я любил Ляльку, — подумал Эдуард Аркадьевич, — и правда, чем дольше живу, тем прекраснее мне кажется наша любовь”.

— А я любил Ляльку, — сказал он неожиданно для себя.

Иван сел, чиркнул спичкой, прищурился.

— Да, наверное, — сказал он сочувственно, и это была тоже неожиданность для Эдуарда Аркадьевича. Он ожидал лёгкой издёвки.

Иван снова встал к окну и смотрел во двор, а Эдуард Аркадьевич, глядя на него, мстительно подумал, что Ляльки он не стеснялся. Может, только вначале чуть-чуть, а потом даже гордился. Но не сказал этого, просто неуверенно буркнул:

— Рассветает.

— Нет, до рассвета далеко. По осени до света и в утренние часы выспаться можно. Ну, ты прав, давай-ка спать, — Иван сел, потом вздохнул: —

Спать надо вовремя. Всё, Эдичка, надо делать вовремя — спать, есть, любить, кряхтеть по-стариковски — всему своё время.

— Да, время собирать камни, и время разбрасывать их.

— Да, да. Я так и знал, что ты это скажешь. Как понки! Друг за дружкой повторяете. Ты хоть Библию читал?

— Кто это — вы? — не выдержал Эдуард Аркадьевич. — И что ты нового сказал?

Иван не ответил. Эдуард Аркадьевич лёг, отвернувшись к стене.

— Настоящая любовь, Эдя, бывает, наверное, только в старости, — серьёзно сказал Иван. — Когда утихают страсти перед приближающимся концом, когда всё пережито и познано, и прощено, и всему названа цена и имя. Вот тогда, мне кажется, и проверяется любовь! А все эти ваши страсти-мордасти... грошовые. Я вот почему ещё задержался: с Колькой. Лежал он на обследовании, что-то с опухолью. Ну, слава Богу, обошлось. Да, а там у одного академика баба лежала с опухшими ногами. Они уже за семьдесят оба. Он ещё ничего, молодится-светится, весь в регалиях там, ректор, академик, профессор... И вот мне говорили, что он все свои заграничные командировки отменил, чтобы укладывать большие ноги супруге. Только он умел и знал, как их положить, чтобы ей полечало. Вот она где любовь-то, Эдичка! Ты бы видел, как бережно-любовно укладывал он эти разбухшие ноги. Как драгоценность. Не ножки двадцатилетней кокетки, а...

Эдуард Аркадьевич не слушал его. “Хорошо ты рассуждаешь, — думал он, — рассуждать хорошо. Жить-то так не выходит. Почему вот он не сжился с Софьей... Софи... Софья... Сонечка... Суховата была... Да, но не в этом дело”.

В первые годы их семейной жизни Эдуард Аркадьевич был не то чтобы счастлив, но вполне доволен. Софья была серьёзна и рассудительна. Она разумно и крепко вила их гнёздышко, во всём подлаживалась к матери. Старики были счастливы. Сразу родился Боб, и Софи с матерью часами говорили о пелёнках, о кормёжке, о присыпках, о прививках. Он должен был со счастливым видом бежать в особые отделы, где уже всё было оговорено, и забирать детское питание, костюмчики, мясо... О, Господи! Как много тогда ели мяса! Немудрено, что его было мало в магазинах. Зато полно в холодильниках.

Он тогда был биологом. Боже, когда-то он был женат и работал в престижном Сифибре у знаменитого тогда и сейчас Теплякова! Он даже собирался писать диссертацию. И всё для этого было отлажено. Мать, распрощавшись с мечтой о выдающемся музыканте-сыне, вполне смирилась с биологией и привычно выстилала ковриками научный путь сына. Немного было скучновато, но это уже детали.

И весь этот отлаженный, устроенный уже и милый мир сломала, конечно, Лялька. Одним движением брацковато*-смуглой, крепенькой своей головки на уже расплывавшейся шее. Она взмахнула своей головёнкой, пересекая площадь у набережной, где он пил пиво с Тепляковым, и тот советовал ему заняться мятой для диссертации. Он во всём соглашался, готовно кивая головой: тема необременительная и спокойная, и вдруг, обернувшись, увидел Ляльку: она быстро пересекала пространство. Она всё делала быстро, резко, беззаботно, и взмахнула сумочкой так знакомо, так резко, гарцуяще двигая плотными голенищами в каких-то немислимых не по возрасту узких брючках, и он отметил сразу, что она изменилась, постриглась, подобралась, и только потом осознал, что это Лялька из Николаева пересекла сейчас пространство у его носа. Его Лялька! Он вставил свою бутылку пива в ладонь Теплякова, кинулся за ней, но поздно. Она растворилась в этом пространстве! Он метался посреди гуляющей публики, одиноких пар и компаний, как затравленный, и уже было настиг её, маячившую вдаль, с угрозой кануть навеки, и крикнул не своим голосом, хрипло и властно:

— Лялька!

И вся эта пёстрая публика обернулась. И она обернулась. Он ясно видел издалека, что она услышала, облизнула верхнюю губу, шоркнув тыльной

* “бурятской” (местн.)

стороной ладони о бок, резко отрицательно мотнула головой и исчезла. А исчезать она умела. Он обыскал всё вокруг — ее не было.

Тепляков, когда он вернулся к нему, смотрел ему в лицо долго и удивлённо.

— Мята! — вдруг неожиданно для себя заявил Эдуард Аркадьевич. — Опять мята?! Её уже открыто и изучено 180 видов. Занимайтесь ею сами. Ту-ф-ф-та!

Он допил пиво и, вручив ошарашенному начальству пустую бутылку, резко повернулся и ушёл.

Он запил. И всё рухнуло.

Да, ещё подвернулся Октябрь. Они появились в одно время, Лялька и Октябрь. Рослый, жилистый, сутулый, с желтоватой проплестью под чёрными всегда влажными волосами, он был похож на орангутанга. Он всегда был одержим какой-то идеей, которая обязательно работала “в пик” существующему, и он говорил о ней без передыху, громко, страстно, взмахивая длинными жилистыми руками, полыхая огненной чернотой выкатывавшихся из глазниц, ничего не видящих глаз. Вещал он споро и доказательно, начитанно, либо заражая слушателя своей идеей, либо отталкивая от неё. На этот раз он был одержим идеей спасения русской культуры. В частности, её сельской старины.

— Старик, — сказал он Эдику, завалившись однажды к нему домой с рюкзаком, набитым иконами, тусками, пестиками и всякой всячиной крестьянской утвари, — бросай эту всю бодягу, неприличную для мужчины, будем спасать Русь.

Эдуарду Аркадьевичу, как и Октябрю, было всё равно, что спасать, — Русь или Израиль.

Шла эпоха затоплений. “Зловещие гидры электростанций пожирают лучшие земли России вместе с деревнями и её неповторимой культурой”, — так говорил Октябрь, чистопородный еврей, вечный революционер. Если бы Россия не затоплялась и оставалась деревенской, он начал бы яростную кампанию её разрушения. Тошил бы её за милую душу. Строил бы гидроэлектростанции и прочее. Хотя строить он ничего не умел. Он умел бороться. Такие уж у него были гены. К тому времени Тепляков, стремительно разочаровавшийся в Эдуарде Аркадьевиче, уже готов был с ним распрощаться, и распрощался с искренней благодарностью за его добровольный уход. И Эдуард Аркадьевич сорвался. Он мотался с Октябрём по брошенным деревням, чем-то похожим на Егоркино, но тогда, перед своей гибелью, они были полнокровными, обильными, с брошенной утварью, рукодельной крестьянской мебелью, сундуками, рундуками, прабабкиными костюмами и прочим, тогда казавшимся ему дешёвым камуфляжем, и только сейчас, прожив некоторое время в крестьянском доме, он начал понимать истинную цену тем немудрёным и неброским вещам. А тогда он, полуверя, выслушивал громогласные тирады Октября и лазил с ним по пустым усадьбам, амбарам и чердакам, заходил в бани, заглядывал в запечье, восклицая перед каждым найденным пестиком или самотканкою, изо всех сил изображая понимание и радость. И то хоть какое-то было занятие... Кроме пьянства... И скитались они по Северу порядком, почти собрали музей крестьянской утвари. И однажды в жарком сентябре остановились посреди малой пустынной деревушки, прямо на дороге. Октябрь разделся и лежал под последним, но ещё крепким жаром, развалившись и разомлев на жестковатой подсыхающей траве, как стареющий фавн, равнодушно оглядывал эту притихшую перед гибелью русскую деревню, и в его ожесточённом лице появилась пресыщенность.

— Русские — дерьмо, — сказал он вдруг. — Они ничего не могут. Даже спасти свою культуру. Самобытность — и ту за них подбирают евреи, — он подёргал алую косыночку на шее, которую всегда носил вместо галстука, и, сплюнув через зубы, добавил: — Это страна рабов.

Эдуард Аркадьевич вдруг ощутил тоску. Она никогда не выходила из его сердца, но была приглушена суетою поисков, а сейчас вышла, может, отозвавшись на живую тоску, которую источали покинутые усадьбы этой крохотной деревушки в последнюю свою осень...

Сейчас она на дне Братского моря. Все у него давно ТАМ. И мать, не вынесшая разбитой жизни сына, и отец, который так естественно и спокойно не смог прожить без неё и полугода, и Лялька, наверное... И вот он до сих пор в такой же деревушке, никому не нужной... и сам, никому не нужный... Нищий иждивенец полунищего Ивана. Октябрь, говорили, собирался отплыть “за бугор”. “Революционерит со страшной силой”, — сказал о нём Гарик. Как давно это было! Целую жизнь назад... Он вздохнул и, повернувшись на другой бок, разглядел в полутьме Ивана. Сосед лежал лицом к стене и бормотал чуть слышно:

— Букет, банкет, багет... Я же говорил — нерусское всё, — он вздохнул и через плечо прикрикнул на Эдуарда Аркадьевича: — Всё, Эдя, спим. Спим. Завтра договорим...

* * *

Утренник вдарил сильный, и утро было долгое, белое от крупного, мохнатого на траве инея. Вовсю и сладковато морозило. Эдуард Аркадьевич шёл к ручью, съёжившись. Плащ стоял над ним коробом, и он осторожно переставлял по траве длинные свои ноги, впечатывая в траву глубокие следы. Ручей сковало тонким ледком, песок и вода внутри — алмазные, прозрачные, и везде вокруг прозрачно, тонко, морозцевато... И всё звенит, скрежещет, бьётся. Даже замёрзший лист падает жестяной. Отошли, отпали мягкие звуки последней осени. Скоро-скоро... Вот-вот. Ледок тонко позвякивал в вёдрах, заплоты и изгороди поблёскивали морозной тенётой, дыхание клубилось паром, и Эдуард Аркадьевич, поставив вёдра наземь, обернулся на белую деревню. Она была красива. Предзимняя, торжественная, собралась вся, даже постройнела. Она была живая и всё-таки тоскливая, как та, которой он и не узнал имени, потому что она потеряла его ещё до их посещения. Почему он вспомнил её? Потому что он живёт только воспоминаниями. Он отыскал взглядом свою усадьбу. “Клёпу жалко”, — подумал он и, дынув паром, нагнулся, гремя застывшим плащом, поднял вёдра и, неуклюже оттопырив их от себя, понёс воду в дом.

Иван с утра утрюм, сосредоточен, деловит. Он всегда такой перед посещением кладбища. Иван уже затопил печь, и она гудит, весело и малиново полыхая огнём. Сковорода нагрелась, и когда он бросил в неё нарезанное сало, оно так аппетитно и вкусно зашкворчало, что у Эдуарда Аркадьевича помутилось в глазах, словно он не ел вчера ничего. Эдуард Аркадьевич молча чистил картошку, и Иван молча её жарил на сале. Она оказалась вкуснее, чем вчера, они ели её молча, запивая горячим крепким чаем.

— Ну, слава Богу, — сказал Иван, вставая. — Даст Господь, и презимуем с тобою, Эдичка.

Эдуард Аркадьевич согласно кивнул головою и подумал, что он душою ближе к Ивану, чем к Октябрю. “Да, да, — подумал он, — потому мне и тоскливо было с Октябрём весь этот период скитаний. Просто я искал Ляльку. Я везде и всегда искал Ляльку!”

Потом Иван курил, ходил по дому, глядя в окна на белёсое, несолнечное небо, а Эдуард Аркадьевич прибирал кухню и думал, что Ивану одному то зивовать здесь тоже несладко. Так что он нужен Ивану. А ему самому что сейчас делать в городе?! Нет, вот презимуют, тогда уж точно по весне выхлопочет себе пенсию. И заодно поставит вопрос ребром и перед Марго. Он даже запел от светлых перспектив, открывавшихся в его жизни.

Утро долгое, смутное, с морозною стылостью. Наконец, к обеду, едва-едва проклюнуло солнышко. Иван к тому времени уже собрал узелок с продуктами, натянул на голову вязаную шапчонку.

— Ну, двинем, Эдя!

Иван шёл впереди с лопатой на плече, узелок болтался на древке, позвякивали в узле алюминиевые чашки. Эдуард Аркадьевич нёс на плече грабли. Шли ходко, благо солнышко разогнало морок, подогрело воздух, и ветерок уже ласкал лица. Дышалось легко, свободно. Белка бежала впереди.

Проходили мимо домика Эдуарда Аркадьевича, и Иван, заглянув через прясла во двор, гаркнул:

— Ну, ты даёшь, Эдя. Какого хрена ты делал-то лето? Хоть бы завалинки перебрал! Ни полешка. Ах ты, Эдя, Эдя! Интеллигент ты паршивый! И пол-огорода картошки в земле! А! Руки бы тебе поотрубить за это!

Эдуард Аркадьевич сконфуженно закашлялся, отвернулся в сторону Сапожниковского дома, и ему показалось, что таинственный дом, распластавшийся на пол-улицы, сейчас взлетит. Он только чуть присел перед полётом. Эдуард Аркадьевич встряхнул головой, когда Иван уже был впереди. Пружинил по-хозяйски, оглядывал зорко округу, и даже через телогрейку было заметно, как ходуню ходит его живая сильная спина. Сразу за околицей вошли в лесок, сквозной, какой-то просеянный. Последняя листва трепещет на солнце. Иван потянул носом:

— Надо бы опять поискать на обратном пути!

Пахло грибной отволглрой прелью. Эдуард Аркадьевич подумал, что так пахнет листва под ногами, но Иван словно прочитал его мысли, обернулся:

— Нет, нет! Я здесь столько грибов собирал! Мешками выносил. Да, брат, наткнёшься на берёзу, а она вся ими усеяна. Мешка по три можно с одной берёзки собрать. Да, грибов бы на зиму!

Эдуард Аркадьевич в ответ почесал бороду. Увидав погост, они чуть приостановились, даже Белка присела, неуверенно помахивая хвостом.

Погост разбит на пригорке, сразу за леском, и оброс подлеском. Потому его не видать, только крайние могилы голубеют, как лоскуты из-под юбки. Сейчас он в сквозном лесу, как цыганский табор, расцвеченный в детски-яркие цвета. Только старинная его сердцевина — начало — чернеет заветренным листвяком крестов. Поднялись по тропке, едва уже заметной. Прошли сразу к своим могилам. Они на склоне. Эдуард Аркадьевич привычно оглядывал кладбище. А Иван откинул внутренний зацеп у оградки и прошёл внутрь её.

— Здорово, папаня, — сказал он серьёзным, хриловатым от волнения голосом. — Здравствуй, мама! Верушка... радость моя... как ты там?! Тьфу ты, чёрт, Эдя, чо бы нам хоть из листьев ветку не принести, а? Ну, ты прости Вера... прости... Так и не научился я цветы тебе носить.

Постояли, помолчали и принялись за работу. Погост был чист, потому что они чистили его каждую весну и осень, и никто, кроме них, не заходил уже давно в этот “городок”. Эдуард Аркадьевич взялся за свой “советский период”, где чистили больше железные памятники со звёздами, и могилы были в оградках. Он собирал листву граблями, выносил мелкую щепу и трухлядь и рукавом плаща вытирал выцветшие фотографии. Иван работал “на старине”. Здесь стояли большие кресты с голубцами, холмики плотные, с дёрном. Иван подравнивал могилки лопатой, вкапывал пошатнувшиеся кресты, притаптывал и подчищал тропки между могилками. Работали споро, молча, в охотку. Потом пошли в “обход”. Начали со “старины”. Её и сам Иван плохо знал.

— Я тогда ить не интересовался стариками. Помер да помер. Всё удивлялся, что они вообще-то живут... Вот этого помню, дед Кузьма — сухой был, как... ну, не знаю, какой сухой... а ходил прямо-о... Волосы белые... Дядьки Митяя дед. Умер в 126 лет.

— Не может быть!

— Может! Я те чо врать-то буду. Вон Феня-баушка, её так и звали, — сто шесть лет прожила.

— О-о-о?

— Да-а-а! Но вот её-то скрутило! Как улига ползала. На один бок припадала ещё. Вещунья была. Всё предсказывала, лечила, на воск лила. В общем, та ещё была старушка... А вот этот пятачок, — он указал рукой на сбившиеся в угол заросшие холмики, уже без крестов, — я не знаю. Не помню, говорили ли что о них. Помню, мать на Пасху обойдёт их и положит по яичку и по кусочку блина. Так все делали.

Советский период более знаком Ивану, и тут уж он со всеми разговаривал по-свойски.

— Ну, здорово, кореш! Кореш мой тут лежит, Буруйчин... Васятка-а! О-о-о! Мы с ними вытворяли — будь здоров! Огороды чистили — только так. А это Силантій — дядька мой. С войны безрукий пришёл. Добрый был. Сторожил конюшню тоже... Да-а... Всех детей поднял и выучил... всех пятерых. Фершелка наш его загубил... Вениамин... был у нас такой, не тем будь помянут. Вон-он лежит за тёткой Марусей Кривошеевой. Ячмени его одолели, дядьку Силку. Забили глаза прямо. Ну, помаялся да Венечке... и имя-то какое-то у него... Возьми этот Венечка, да и прижги ячмень. Чем, не знаю. До столба только и дошёл дядька Силантій... В муках скончался...

— А фельдшер?

— А ему чо делается! Дожил до глубокой старости. Знал два лекарства — аналгин да аспирин! Это вот — Шура Кривошейка, Шурочка наша синеглазка... Тихонюшка была... маленькая, синенькая, вся какой-то синий свет излучала. Фосфоресцировала вся... Засветишься, пожалуй, от такой жизни. Колхоз. Девчонкой одна осталась перед войною... Два мешка колосков собрала, вот и всё её приданое. Они её и загубили, колоски. В войну её на колосках управляющий поймал. Федька-полудурок... так его звали... Чёрный был, как ворон, злой... Вон он за дедом Афонькой лежит. Ну, и — под суд. А у неё в этот год похоронка пришла на мужа. И её забрали... Вот уж правда: пришла беда, отворяй ворота. Дали ей, родимой, за колоски, три года. До конца войны отсидела. Ну, детей село сберегло. Не дали бабы помереть. Пришла — и в упряжь... Так и до последнего дыхания... Дети чужие выросли. Не помнили... Она так и доживала одна. Да ты её помнить должен! У неё первые годы Марго молоко брала!

Эдуард Аркадьевич неопределённо промышчал в ответ, он мало обращал внимания тогда на стариков Егоркина. Они все казались ему одинаково серыми: бабки в платочках, деды с палочками. Он, честно говоря, почитал их за глубоко отсталое население, которому человеколюбиво разрешили доживать здесь, как они хотят. Он, конечно, тогда так не думал, но такими вот их и видел. Он вдруг вспомнил сейчас Гарика и его небрежно-презрительный жест, и кривую ухмылку, закашлялся и отвернулся...

Поминать сели у могилы Ивановых родителей. Иван развязал узелок, распластал его на желтоватой земле, нарезал сала, огурцов, хлеба. Положил каждому по яичку. Белка, шнырявшая по кладбищу, тут же выросла из-под земли. Иван кинул ей кусок сала, потом выразительно глянул на Эдуарда Аркадьевича и достал из кармана куртки “четушку”.

— Помянем, друг!

Небо чистое и высокое распласталось над ними, как громадная летящая птица, и солнце млело, исторгая из себя очередной ясный осенний день, и пульсировало жёлтым сердцем синей птицы. Там, под погостом, горели последним золотом леса, и простор был пронзителен так, что, если долго глядеть на него, захочется заплакать. Эдуард Аркадьевич увидел Егоркино. Оно было белым, словно из белой кости, маленьким и глубоким! Оно казалось более седым и мёртвым, чем его цветастый ещё, весёлый под солнцем погост. И только сейчас подумал Эдуард Аркадьевич об их кровной и вечной связи.

— Я вот думаю, Эдичка, — сказал Иван, наливая в жестяную кружку водку, — вот если можно предсказать, ведь предсказывают всякие там... старцы... будущее... значит, и Егоркино будущее было predetermined... Значит, для этого жило... оно строилось, страдало... — он вдруг шмыгнул носом и снял пальцем слезу под глазом. — Обидно! Пей давай... Помяни...

Эдуард Аркадьевич принял кружку, помолчал над нею для приличия и выпил. Водка сразу согрела, он поморгал глазами и передал кружку Ивану. Иван заглотил водку махом и сразу выдохнул воздух, взял в руки кусок сала.

— Я только с годами начал понимать, что это такое — народ, родина, — с годами... боль какая-то копится в душе. Вот они все — царствие им небесное! — родные мои... Все родные. Тут вот и мать, и отец, и Верка, и дядька, и тётки, и дружки... Всё, что во мне есть... Иной раз подумаешь, так и страшно становится — один остался из всех. Один живой Егорьевский, а они, как стеною, стоят... Аж мороз иной раз пройдёт... И ведь как жили! Шас, как вспомню, как тяжело жили, Эдичка! Какие судьбы, какие судьбы!

Как это всё осваивалось: потом, кровью, молитвою... Церковь в Мезенцево была... Весь край окормляла. Школы... всё тут было. Народ здоровый, весёлый... Лица чистые... При этой страшной жизни какие были лица у женщин! У старух... Это были лица икон, такая чистота лучилась на лицах... За что я люблю Венецианова. Ты помнишь Венецианова?

Эдуард Аркадьевич молча кивнул головою. Ему становилось всё тягостнее. Он понимал чувства Ивана, но не разделял их. Народ как народ, думал он мрачно, обычный, чо уж... тут. Обернулся на кладбище и поёжился.

— Да вот он как бы неотмирный... Точно!.. — Иван быстро налил в кружку водки, махом выпил, утерев губы рукавом куртки, закашлялся. Глаза его налились слезами. — Я иногда плачу по ночам. Такое уж время подпёрло. Господи, — сказал он вдруг в небо, громко и хрипло, — был ли народ на земле у Тебя чище этого народа! Был ли у Тебя ещё такой народ! Где он? Покажи его! Разве не этот народ так любил Тебя?! В чём он провинился так перед Тобою?! За что Ты его так? За что мою деревушку и русских, всех нас... — Иван всхлипнул.

Эдуард Аркадьевич глянул на странное сейчас, даже чуть жалкое лицо Ивана и отвернулся, тоскливо разглядывая близкую могилу с тумбочкой без всяких опознавательных знаков.

— Жиды Твои за несколько дней, пока Моисей был на горе с Тобою, тельца золотого сварганили... вместо Тебя... Ты простил. Сколько зла... грязи от этого народа, а он процветает... А мой народ, Господи! Ты ничего не простил ему!.. Ты ничего не забыл ему... Ведь разве они виноваты?! Они не отступали от Тебя, не продавали, по Европам не ездили, в масонство не вступали, не революционировали... Пахали, рожали, молились... И Ты их не пощадил! Ты не пощадил их, Господи! Ты даже не пожалел нас! Ты разорешь народ мой, Господи, отдашь его в руки врагов своих... Своих прежде всего...

“Он с ума сошёл, — холодно думал Эдуард Аркадьевич. — Они помешались там все на жидомасонстве... И Ванька такой же!”

Иван вдруг захлебнулся, отвернулся, видимо, приводя себя в чувство, потряс перед глазами пустую чекушку и с размаху кинул её вниз, в бурьян. Эдуард Аркадьевич с долгим сожалением наблюдал падение бутылки.

— Видно, Ты любишь этих жидов! — закончил Иван. — Ты просто их любишь... Первая любовь, она ведь не забывается. А нас... Подсобный материал для Тебя...

— Ну, уж ты! — не сдержался Эдуард Аркадьевич. — Смело уж, Ваня.

— А ты молчи, у тебя таких кладбищ нету.

— У меня вообще никакой могилы нет на земле, — тихо сказал Эдуард Аркадьевич, чувствуя близкие слёзы. Иван долго и серьёзно глядел на него снизу. — Я вообще... воо-о-бще...

— Ну, пойдём, — сказал резко и неожиданно Иван, как делал всё, и сразу, закинув лопату на плечо, пошёл.

Эдуард Аркадьевич развёл руками над оставшейся снедью. Не бросать же такую добротную холстинку, да и шмат сала — слава Богу! — ещё большой... Он суетливо разбросал несъеденные куски по могилкам, последний сунул Белке в пасть, завернул шмат в холстинку и, волоча грабли по земле, нескладно выбрасывая ноги, побежал вслед за Иваном. У развилки Иван, чуть постояв, резко повернул на большую дорогу.

— Онова живём, Эдичка, погуляем ещё денёк ноне... а там уж за работу, — он повернул в Мезенцево.

Эдуард Аркадьевич шёл за ним и думал, что Иван перегибает палку. Они все перегибают. Подумаешь — Егоркино... Чо с него?.. Истории кончались, цивилизации гибли, какие культуры... А тут — крошечная деревушка. Она, может, и не мешала прогрессу, но и не способствовала! Выживают сильнейшие. Эдуард Аркадьевич думал это, глядя в ожесточённо-подвижную спину соседа, и представлял себе Грецию, Древний Рим, египетские пирамиды. Какие мощные останки великих цивилизаций! А что оставит эта несчастная Россия?! Что останется от Егоркино?! Потом он думал, что это всё неплохо он сложит в статью... И надо... И вообще, почему бы не попробовать что-то написать. Музыкант из него не получился, как и биолог, а писать ведь можно

в любом возрасте. От этих надежд Эдуард Аркадьевич воспарил в мысли и уже проектировал будущие работы и какую-то основу для старости и пенсии, и, наконец, он может спокойно покинуть Ивана. Он даже запел от удовольствия, на что Иван обернулся злобно и резко.

“Всё-таки он злой, — подумал Эдуард Аркадьевич, — злые они, и Гаррик был холодный и злой, как змей, а этот — как собака”. Вот он, Эдуард Аркадьевич, он не злой, потому что не привязан ни к русским, ни к евреям, ни к Егоркино, ни к Израилю. Полукровок, интернационалист. Даже космополит! Мог бы даже пострадать за это. Он носитель идеи общечеловеческих ценностей и привязан был только к Ляльке и к матери. Эти две женщины, обожаемые им и обожавшие его, в сущности и сломали ему жизнь. Это они выбросили его сюда, на задворки всякой жизни, в деревеньку, которую сам Господь забросил и забыл. Конечно, он мог бы ужиться с Софьей и чин-чинарём, может, процветал бы с нею. Мог бы даже укатить в Израиль. Она чистая еврейка, а у него есть заслуги... Да, всё-таки поддиссидентствовал! Он вспомнил эти тесные интеллигентские кухни, бесконечные разговоры о кризисе власти, деспотизме её, развале экономики, антисемитизме. Всё это полудрёпотом, вычисляя стукачей, оглядываясь на улицах. Носили под полами самиздат, читали его по ночам, спуская шторы, на ухо передавали друг другу новости о судилищах, терроре, Солженицыне, Сахарове. Октябрь, костистый, громадный, с отвислым носом, как всегда, вещал, выбрасывая вперёд свою крупную обезьянью длань. Под кадыком его шеи поплавром нырял цветастый узел обязательной косынки. На этих угрюмых вечеринках в каше мрачного еврейства Эдик, может быть, и обрёл бы себя, если бы не та встреча с Лялькой. Как бешено колотилось тогда его сердце, как особенно засветился воздух и зазвучали голоса. В тот вечер, ужиная с семьёй, глядя в красивые глаза жены, он подумал, что семейный покой отличается от счастья, как яблоко из румяного папье-маше от настоящего...

В Мезенцево пришли, когда солнце пошло на закат. Сразу же зазнобил ветер, и отовсюду предательски поползли тени, и Мезенцево по-вечернему помрачнело. Эдуард Аркадьевич суетливо поправил шарф и поднял воротник. Иван с ходу пошёл в магазин и, тщательно пересчитав деньги, купил три булочки хлеба и два килограмма крупы, потом подумал и прикупил муку. Всё это они завязали в тот узел, который Иван, повесив его на древко лопаты, нёс на плече.

— Ну, — решительно сказал он на крыльце магазина. — К Метёлке!

Метёлкой в Мезенцево звали молодую и довольно ладную бабёнку, торговавшую поддельной водкой, — “катанкою”. Их много поразвелось по краю, в любую минуту суток выдававших за десятку бутылку мутной отравы, но не всех звали Метёлками. Эту же звали так потому, что она метёт всё подряд, — берёт всё, что ни принесут: бутылку растительного масла, одежду, мебель, посуду, ковры...

— Ишь, как разжилась! Полсела подмела, стерва! — Иван застучал тёмным кулачищем по калитке. Взыбли и заметались собаки во дворе. Чуть вздёрнулась, заколыхалась воздушная занавеска окна, и, наконец, на высокое крыльцо дома ступила женщина. Эдуард Аркадьевич посмотрел на неё с удовольствием. Высокая, прямая, с какой-то неповторимой статью, она ступала по мосткам ограды спокойно и величаво, поправляя полную круглую рукою тяжёлый узел рыжих волос на затылке. Голова её была чуть опущена, глаза — вниз.

— Ну, — сказала она ровным холодным голосом, не открывая низкой калитки, — чего?

— А то ты не знаешь, — ответил Иван, подавая ей через калитку десятку.

— Двенадцать, — сказала она, не поднимая глаз.

— Чего двенадцать? — не понял Иван.

— Рублей.

— С чего это?

Она промолчала, равнодушно глядя вниз.

— Ты чо, оборзела! Скоро шкуры драть станешь!

Она презрительно скривила румяные губы.

— Чего она стоит, твоя шкура!

— Ну, ладно, давай, в другой раз отдам.

— В другой раз и получишь.

Эдуард Аркадьевич, глядя на округлое мягкое лицо женщины, опущенные тёмные веки, силился вспомнить её имя и не мог. “Метёлочка”, — вертелось у него в мозгу.

— Ну, ты чо, хочешь сказать, что мы зря пилили к тебе из Егоркино?!

— А я вас звала?!

Она подняла глаза, но не на них, а туда, через калитку. Она смотрела в небо на высоко пролетавшего ворона, и Эдуард Аркадьевич заметил, что глаза у неё зелёные, круглые, большие, и что она с широко раскрытыми глазами ещё красивее. Но она тут же опустила их. Выражение лица её стало абсолютно равнодушным.

— Ну, ладно, хватит выламываться. Хочешь, продам за два рубля, — Иван оглядел себя, похлопал по карманам, потом вдруг потерял шарф Эдуарда Аркадьевича, — вот его шарф. Чо ты ухмыляешься?! Это шарф благородного человека. Такого рыцаря здесь по всему краю не найти. Возьмёшь? Ведь ты же всё метёшь, Метёлочка! А то меня бы подмела. А чо! Чем я ещё не мужик! А то присмотри, увезу тебя в Егоркино. Заделаю тебе одного-двух деток, на развод, и пойдёт от нас с тобою новое село. А, Елизавета! Ты не смотри, я мужик ещё в соку... За милую душу обласкаю...

Женщина фыркнула, презрительно скривив губы, бутылка вылетела из-за калитки, раскатившись по жёлтой опушке осенней травы.

— Облезлый козёл! — холодно и негромко сказала она и, повернувшись, спокойно пошла по настилу ограды, равномерно покачивая свою прямую сильную статью и высоко неся рыжую равнодушную голову.

“Вот он, твой народ!” — злорадно подумал Эдуард Аркадьевич, поднял бутылку и подал её Ивану.

— Видал миндал, — добродушно вздохнул Иван, тут же крикнул в ограду: — Дура рыжая! Бога ты не боишься. Сколь народу потравила этой гадостью. Зараза...

Дверь сенец в ответ хлопнула резко и раздражённо.

Из Мезенцево выходил молча. Иван шёл первым, Эдуард Аркадьевич смотрел в мускулистый узел на лопате Ивана и думал о Елизавете, чувствуя, что и Иван думает о том же.

— Да-а, Эдичка, такие вот времена для нас настали. А были ведь — орлы! Сколь я их повидал на веку — скромничать не буду. Бывало, что в азарт входил. А ныне мы облезли с тобою. Была бы монета... Имя... Нет, Эдичка, будем доживать с тобою вдвоём. Бабку брать не хочется. А хороша стерва!

— Хороша, — согласился Эдуард Аркадьевич.

— Да, я сначала в крутой кобеляж вдарился. Надоело. Потом утончённое искал, и это надоело, и осталась одна Верка... Да-а...

К Егоркино подошли по вечерней заре. Ещё горел холодный октябрьский закат, деревенька погружалась в сырую, мрачную тьму.

— Ну, здорово, Егорушко, — сказал Иван, остановившись посреди дороги. Он стоял, широко расставив ноги, которые стояли так крепко, что, казалось, уходили в землю, и напоминал древний кряк. Белая деревня перед сумерками встала, как заблудшее стадо с вожаком Сапожниковского дома, у которого последними закатыми ответами уже горели все окна. Иванов дом ещё хранил тепло, но Иван внёс поленья, пахнущие свежестью, берёзой, и печка затрещала, польхая и освещая кухню. Иван сидел, открыв топку, смотрел на огонь и курил. Всполохи тенью прыгали по стенам. Каша упрела быстро, Иван сбобрил её маслом, она зернисто желтела под неровным светом от печи. Огня не вздували.

— Как в детстве, — вздохнул Иван. — Бывало, мать утром всё топчет-ся при свете печи. Электричество поздно провели у нас... Под самые шестидесяты. Чо там электричество! Я, когда в Иркутск приехал, впервые увидел белый хлеб. Молотый на мельнице. Настоящий... Булки. Я целыми днями заходил во все булочные и покупал белый хлеб и сайки и ел тайком. Стыдно

было. А у нас в деревне хлеб пекли из своей муки. Знаешь, на таких каменках мололи. Мука грубая получалась. Хлеб тяжёлый, чёрный, с привкусом полыни. Потому что поля зарастали полынью. Полоть было некому. Не васьильками, а полынью. И тот хлеб мы ждали — не дожидались, когда мать его испечёт, всё в печь заглядывали — смотреть, как печётся... — Лицо Ивана покраснело от жара, глаза засинели. Одной рукой он кочергою поправлял жар, искры летели из печи. — Вот этот хлеб она мне положила в дорогу. На дно деревянного сундучка. Я ведь с деревянным сундучком приехал в Иркутск. Ну, будет, давай хлебнём этой гадости.

“Катанка” оказалась на редкость мерзкой, но выпили. Иван ел кашу, брал руками сало и кидал в сочный свой, сильный рот. Эдуард Аркадьевич кушал скоро, но деликатно. Сало поддевал вилкою.

— Отравит, стерва. Ей-богу, отравит, — Иван допил водку и передёрнулся. — Издохнуть и переплатить за это! Падла!

— А красивая, — мечтательно заметил Эдуард Аркадьевич.

— Только и утешения, что красивая!

— День был хороший, — сказал Эдуард Аркадьевич, — хороший день, Иван.

— Да, здесь всё хорошо, спокойно... А тишина, Эдичка. Зимую-то как кричим, чтобы она прервалась. Тишина-то!

— Я помню.

— Да, иной раз и покричать хочется. Прочистить глотку. Не всё же её заливать вот этим пойлом. Мы ведь с тобою, Эдичка, неисправимые романтики. Как траванулись тогда, в шестидесятых, этим романтизмом, так всё никак не одыбаемся. Старые романтические дети...

— Да, да, — вдохновенно подтвердил Эдуард Аркадьевич, — давай за это выпьем, Ваня.

— Да брось ты, Эдичка, было бы, за что пить. Старческие это всё слюни. Я представляю, чтобы дед Егоровский... любой... орал на огороде... Тишину бил... вся бы Лена потешалась бы над ним. Другие заботы были у дедов наших. Потому и деревни вековые стояли, крепкие. Они устои блюли, порядки, своеобычай.

— Ну, знаешь!

— Знаю. Давай-ка лучше за деревню мою и всё русское. На них Русь стояла и стоит, да весь белый свет на русской деревне держится.

— Ну, это ты хватил!

— Пей давай! Молча! Если не понимаешь...

Как ни странно, эта рюмка покатила маслом. Эдуард Аркадьевич заел её мягкой масляной кашей, оглянулся на малиновые отсветы печи, и жизнь ему показалась раем. “До весны дотяну, — подумал он, — а там выхлопочу себе пенсию и приеду опять... С пенсией. Много ли старику надо. Человеку вообще немного надо... Да, Толстой прав!” — он хотел было ещё порассуждать о Толстом, но Иван, вставший из-за стола, чтобы подложить поленьев в печь, всё никак не мог освободиться от воспоминаний.

— Всё простить не могу себе, что тогда, когда я уходил из Егоркино, не оглянулся на мать. Попёр с сундуком — лишь бы вылететь, а она стояла за деревней. До дороги проводила меня и стояла, знаю... пока я не скрылся с глаз. И потом, думаю, стояла долго...

Иван подкочегарил топку, поддел совком уголёк, прикурил от него и поднялся. Длинная тень поднялась за ним и поплыла по стенам и потолку. Иван долго всматривался в окно, спина его как-то странно сгорбилась, и Эдуард Аркадьевич впервые заметил в нём нечто от старика.

— Ты знаешь, — сказал Иван, не отрываясь от аспидной тьмы окна, — старики любят даль. Мы любим глядеть вдаль. Я сейчас это за собой стал замечать. Раньше, бывало, мать с отцом встанут у амбара или с крылец, особенно осенью, и всё глядят, глядят... На поля любили глядеть... Есть что-то завораживающее в обнажённых пашнях перед снегом. Часами бы смотреть... И когда снег ложится на поля. Я в детстве всегда плакал, когда снег ложился на поля... В раннем... И сегодня чуть не заплакал... Да... Только это не пашни, и мы не дети... Хотя старики и дети — всё одно... Дети тоже глядят...

После третьей рюмки Эдуарда Аркадьевича пробрало. Он согрелся, съел кашу и сало. Вид весело топившейся печи был отраден ему как память о матери, и нога весь день не болела. Ему захотелось поговорить о высоком. Сколько же можно топтаться на одном пяточке брошенной деревни! Он с гордостью подумал, что сам он надмирен. Да, по высокому счёту. Он не привязан душою ни к единому месту земли. По-настоящему всемирнен! Да, Иванова ограниченность ему незнакома. Всё-таки он человек высокий...

— Я бы Чехова сейчас почитал, — неуверенно сказал Эдуард Аркадьевич. — Я люблю Чехова...

— Добра-то! Читай. У меня на чердаке его полно.

— Но почему на чердаке! Это варварство!

— Да что ты говоришь! — Иван снял со шкапчика лампу, поправил язычки, зажгёт её и пошёл в горницу, залез в какие-то бумаги, шебурша и ворча, вынес, наконец, потрёпанный и чрезвычайно пыльный томик. Пообив пыль о собственный бок, он протянул его Эдуарду Аркадьевичу.

— Вот тебе Чехов. На! Просвещайся.

Эдуард Аркадьевич с волнением достал очки из кармана своего плаща и удостоверился, что это Чехов.

— Ива-ан!

— Ну, чего тебе ещё? Завтра достану всех твоих — Ахматову там, Мандельштама, Цветаеву... Кого тебе ещё?.. Всех, до Оси Бродского... бездаря этого... Мало того, что он бездарен, он ещё и омерзительен.

— Вандал! — с пафосом заявил Эдуард Аркадьевич.

— Да, да! Так вот, весь комплект паршивого интеллигента там. Торопись. Я ещё не всё сжёг, — равнодушно сказал Иван.

— Вандал! Варвар! Ты что — против культуры?!

Иван добродушно засмеялся.

— А что ты называешь культурой?

— Творения человеческого духа, — с торжественной серьёзностью заявил Эдуард Аркадьевич.

Иван вразумительно глянул на него и стал убирать со стола. Белка, вскочив на задние лапы, опершись передними о стол, жадно оглядывала остатки ужина. Тишка сидел на стуле и ждал смиренно. Эдуарда Аркадьевича прорвало. Он строго поправил ворот свитера, вскинул голову и закатил страстную речь. Он говорил о прогрессе, о цивилизациях, о культуре, о высоком, надмирном, космическом. Говорил с патетикой, уверенно, громко. Размахивая руками и без конца тыкая в Ивана пальцем, словно обвиняя его в гибели наций и культур. Речь свою он обильно пересыпал именами, внутренне гордясь своими новейшими познаниями, призывая в свидетели и Гумилёва, и Булгакова, и... и Беранже, и Софокла. Сам удивляясь своей памяти и находчивости, не замечая, как бледнеет Иван, как собралось его отрезвевшее лицо и синева глаз стала жгучей.

— Всё? — спросил Иван, когда он закончил.

— Всё! — победоносно ответил Эдуард Аркадьевич.

— Свободен!

— Что это значит?! — оскорблённо крикнул Эдуард Аркадьевич.

Иван молча ходил по кухне, разбирая посуду, заглянул в топку, прикрыл трубу, потом взял лампу и, перейдя в горницу, лёг на постель.

Эдуард Аркадьевич исступлённо следовал за ним.

— Что? Что? — спрашивал он. — В чём я не прав? Ты ответь!

Иван помолчал, потом вздохнул.

— Отчего это всё ложное столь напыщенно, — холодно сказал он. — Там, где пустота — невыносимая патетика. Чем пустозвоннее, тем громче... Ты в природе не замечал? Ложные грибы намного ярче настоящих... Так и лезут в глаза.

— К чему ты это?

— Ну, а к чему ты всё это наплёл?!

— Я тебе доказывал значение культуры.

— Ну, ладно, всё, давай спать, — Иван отвернулся лицом к стене.

— Нет уж! Давай объяснимся!

Иван резко встал, взял папиросу.

— Во-первых, культура глубинная — это совсем не то, что ты тут нагородил. Прежде всего, она производная культура — религии. И всё, что освящено религией, весь глубинный самобытный пласт нации. Вся жизнь её, быт, этот вот дом, костюм, усадьба. Устройство жизни народа, свадьба, похороны, родина... — вот культура. А эти твои... Это сорняки.

— Это высокая культура духа! — громко перебил его Эдуард Аркадьевич.

— Это сорняки на духе народа! Вся твоя надмирная интеллигенция — суть паразитизм во всех проявлениях. И ничего более! Они, как дьявол, сами ничего создать не могут. Зато очень умеют дёргать чужие идеи, мысли переваривать и выдавать за свои. Поедали чужой культуры... Любой, в особенности русской. Уж её-то они пожрали всласть!

— Евреи всегда были в авангарде, — заносчиво заявил Эдуард Аркадьевич. — Больше я тебе не уступлю. Да, да! Наслушался. Они везде первые. И в технике, и в искусстве они ведут народ, — он поднял большой палец вверх и представлял собой довольно живописное зрелище. Худой, длинный палец почти достиг потолка, волосы включены, бородёнка торчит... клином.

— Дон-Кихот несчастный, — равнодушно заметил Иван.

— Я шестидесятник!

— Боже, как трогательно! Должен тебе сказать, что и шестидесятники неоднородны, — Иван говорил примирительно и спокойно, в отличие от собеседника. — Там были и те, кто сознательно и с большой корыстью для себя разрушали государство. Это тот же Солженицын с его раздутою и незаслуженной славой писателя, Сахаров там... Вплоть до твоего Гарика. Эти знали, что делали и за сколько. А были и такие, как ты, вахлак! Вот они-то самые опасные. Потому что ты бескорыстен, честен и благороден. Ты, дурак, за идею шёл. Тебя и твою породу они используют для ширмы и рекламы. Хотя такие, как ты, и сидели за эту разрушительную идею или были выброшены из жизни, как ты.

— Вот видишь, видишь, евреи тоже страдают!

— Ты же вчера был русский?!

— Я полукровка! — Эдуард Аркадьевич с вызовом раздул широкие ноздри своего большого носа.

— Вот вы-то самые опасные, — беззлобно глядя на него, сказал Иван, — вы не имеее ни нации, ни истины. Ни там, ни там. Питательный бульон для этой словочки, разносчики болезни. Именно вы раздули этот поганый интернационал, космополиты сраные...

— Как ты... смеешь. У меня русская мать...

— В том-то и трагедия! Было бы зачем ложиться под еврея. Под кого только глупая баба не ляжет...

Эдуард Аркадьевич издал громкий гортанный крик и так стукнул кулаком по столу, что зазвенело стекло светильника. Потом он молча надел свой плащ и вышел из дому. Белка залаяла ему вслед.

* * *

Тьма, объявшая его, пробрала до костей. Он шёл, ещё разгорячённый, запахнув плащ, и плакал.

— Это ты, ты... виновата! — говорил он ей вслух. — Куда ты девалась! Какой-то Николаев... — Господи, что за Николаев поглотил его жизнь, превратив его, красавца, почти учёного в жалкого приживала этого бесноватого националиста!.. Слёзы текли по горячему его лицу, голова мёрзла.

Дом его отдавал могилой. Ну и пусть. “Пусть, — подумал он, лёг, как был, в плаще и обуви, на постель, — лучше замёрзнуть... Во сне...”

Его разбудила Клёпа. Она залезла к нему под гачу, он злобно саданул её ботинком. Крыса пискнула и куснула его за ногу.

— Падла, убью! — взвыл Эдуард Аркадьевич. Повернувшись на бок, он увидел свой постылый дом, портянку на столе, разбросанные свои вещи и серую жирную крысу, метнувшуюся к своей дыре. — Сегодня повешусь, — решил он.

Холод пробирал до дрожи. Особенно замёрзли уши. Он глянул в окна. Они заиндевели. От дыхания шёл пар.

— Пора, пора, — подумал он. — Хватит мне этого собачьего счастья. Белка — и то лучше меня живёт.

Он услышал шаги во дворе, стук в сенцах. Дверь сразу распахнулась, и Иван, здоровый, стремительный, в фуфайке, перевязанной в поясе верёвкой, энергично ступил на порог, потрясая острым топором в своей красной лапе.

Эдуард Аркадьевич демонстративно повернулся на другой бок, к стене.

— Ну, блин, ты живёшь! — громыхнул Иван. — Обошёл весь двор, хотел у тебя какую-нибудь дровинку порубить. Ну, ни полена! Шаром покати! Эдуард Аркадьевич молчал.

— Эдя!.. Эдичка! Эдуард. На, руби мне голову. — Иван поставил табурет рядом с постелью, встал на колени и положил голову на табурет. — Виноват, Эдя! Я подлец, сволочь! Скотина!

Эдуард Аркадьевич вскочил.

— Иван! — в голосе у него всклокотало. — Если ещё раз... Ты, слышишь, — Эдуард Аркадьевич дрожал всем телом. — Ещё раз ты позволишь себе...

— Никогда! Я подлец! Это мы перепили, Эдичка! Родители — это святое! Я понимаю, прости!

Эдуард Аркадьевич всхлипнул. Иван встал, поёжился, оглядывая дом.

— Да, подчистили мы с тобой твою Марго. Голова болит?

Эдуард Аркадьевич пожал плечами.

— Ну, вот мы сейчас полечим её, и всё! Всё, слышишь, Эдя? Завязываем... до Рождества...

От рюмки полегчало. Закусили салом. Иван забросил вчерашнюю бутылку в огород.

— Теперь в лес. Зима большая... Дров надо много... Так-то. А то, я вижу, ты начал собственную усадьбу жечь.

— А, она Маргошина!

— Этой стервы, конечно, не жалко! Но она не её она. Наша с тобою... Давай-давай.

Эдуард Аркадьевич рассеянно топтался по дому, потом сел на лежанку.

— Иван, я есть хочу...

Вышли при первом солнце. Уже стоял крупный махровый иней, и сырая трава сияла росами.

— Сколько травы пропало, Эдичка, — грустно заметил Иван, глядя на побуревшие густые травы. — Сколько всего пропадает зря. — Он катил впереди себя неуклюжую, но объёмную тележку. Топор у пояса воткнут за верёвку. На бычковой голове — старая шапка одним ухом вверх. Борода — лопатою. Дед дедом уже, но шагает крепко, пружинисто, бока ходуном ходят. Как у бычка...

Завернул в переулок Сапожниковского дома, — так ближе к березняку. Дом показался осевшим и жалким, и странно, что он когда-то сравнивал этот дом с диковинной птицей.

“Всё-таки я романтик, — подумал Эдуард Аркадьевич, — да, да... Теперь уже не исправить. Собственно, поэт и романтик — ведь одно, — польстил он себе. — Нет, Иван груб и несправедлив, это зависть к евреям, русская зависть! Конечно, какая-то доля правды есть в его суждениях, но он главного, глобального не видит...”

Иван остановился за огородами Сапожниковского дома. Вынул из тележки пилу, походил по пролеску, постукивая топором по стволам, определяя деревья посуше. Когда пилили берёзы, Эдуард Аркадьевич долго не мог приладиться к порывисто-резкой руке Ивана. И тот прикрикивал на него и сердился.

— Держи крепче, тетеря. Да не тни ты на себя! Что ты её держишь-то! Фу! Устал. Давай, дуй отсюда. Бери вон топор, руби сушняк. Я сам буду пилить.

Сушняк рубить было легче, и Эдуард Аркадьевич тюкал и тюкал тонкое, хрупкое дерево. Перекуры делали часто. Прежде чем сесть на колоду, Иван тщательно обстучивал её топориком.

— Не смейся! На какую колоду сядешь. Сейчас змеи в колодах сплетаются на зиму. Приятного мало на такой камарилье посидеть. Я видал как-то пацаном в апреле, как они из колоды текут. Страшное дело — во все стороны. Едва тронул такую дуру, а они как повалили, аж страшно. До сих пор эта картина перед глазами. Мороз по коже...

Иван подрубал и пилил березняк по тележке и сразу на неё укладывал, а Эдуард Аркадьевич стаскивал в одно место сушняк.

— С недельку поработаем — на ползимы хватит. Зато в тепле... Тележек пять сделаем, да сушнячок... Вот и перезимует, Эдичка.

Эдуард Аркадьевич сидел рядом с Иваном и думал, как это здорово — заниматься простым крестьянским трудом, здоровым и полезным, и слава Богу, что он здесь — в этой русской деревне, рядом с Иваном, который всё-таки бывает очень мил... Когда захочет...

Иван курил и смотрел на деревеньку.

— Птиц мало, — сказал он. — Раньше по осени птиц было много. Мы с дедом моим Митяем, когда отдыхали раньше на дровах, то всегда отгадывали, какая птица кричит. Птица по осени к человеку жмётся. — Он задумался и вздохнул. — Какие же мы старые с тобой, Эдичка. Старые-старые старики! К нам даже птица не летит. Чурается...

Эдуард Аркадьевич понуро свесил нос и согласно вздохнул.

— Я, кажется, в другом веке родился, в другом народе... да, на другой планете. Вот отсюда в город приедешь и понимаешь, как ты стар и не ко времени, и не к месту на земле. Так что это, Эдичка, спасение для нас, что мы тут и не мешаем никому... И никто не видит нас...

Эдуард Аркадьевич понимающе закивал головою.

— А раньше вот старость не мешала. Я деда своего любил. Мы с ним и по дрова ездили, и в райпо, и валенки подшивали — всё с дедом. Нас, гороху, много было, и старики на пользу шли... О, Господи, сколь я в своё время дурусти понаписал... В паршивой своей газетёнке... Не передать. А о главном не сказал. Всё думал — успею... Оглянулся, а меня уж отовсюду турнули... Так-то! Ничего я не сказал о своём народе.

— А чо бы ты о нём сказал?

— Я-то... Не знаю. Чо-нибудь сказал бы... — он хмуро отвернулся. — Половину сейчас наготовим, а потом, по первому снежку... Они на морозе сладко пахнут... дрова...

Работали до закатного старого солнца. Тележка была полна давно. Иван заготовливал впрок. Эдуард Аркадьевич обвязал сушняк верёвкою. Тащить его было не то, чтобы трудно, а неудобно. Вязанка рассыпалась, и сушняк засорял дорогу.

— Эдя, руки у тебя есть?!

Эдуард Аркадьевич старательно затыкал сушняк. Подтыкал его весь, собирая с боков, но вязанка рухнула посередине проулка.

— Задница ты, Эдя. — Иван развалил вязанку, поднял с земли верёвку и собрал заново. Потом сели отдыхать.

— Поясница уже не та, — покряхтел Иван, держась за спину и глядя на полную тележку. — Скоро уже не сможем с тобой в лес ходить. А, Эдя!

Эдуард Аркадьевич курил молча. Он как-то привык молчать, и если его прорывало, то потом жалел об этом. Синица затинькала на заплоте.

— Объявилась, голубушка, что ж вы нас забыли, а! Птички... Ах, вы, птички! Ну, чо, поперли, Эдя?!

— Посидим... Устал.

— Ну, посидим. Я, правда, жрать хочу. Сейчас картошечки заварганим с мясом. Или щей. Ты хочешь щей, Эдя?

Эдуард Аркадьевич кивнул головой. Есть он хотел теперь всегда, в одинокие, старые годы. Так, как не хотелось в детстве. Но сейчас он хотел посидеть. И скамейка, и солнышко, и жёсткая желтоватая трава напоминали ему недавние минуты, когда его посетила Лялька. Он даже прикрыл глаза

и удивился, что это произошло всего два дня назад. А ему уже кажется, что он был всегда с Иваном, и тот никуда не уезжал. Иван сидел рядом, хозяйски оглядывая свой белый грузный возок. И Эдуард Аркадьевич, слушая его шумное дыхание, думал, что Иван, по сути, животное. Совершенно не поэтичен. Все у него имеет практические цели. Все чувства практичны. И весь его народ такой же.

— А где, кстати, твой Гарик?

— В Израиле.

— А Октябрь?

— Не знаю. Дуб в Иркутске. Все собираюсь съездить к нему.

— У меня тоже были Гарики... в те годы. Москва, МГУ. Я... из Егоркино. На этих Гарики, как на богов, смотрел. Арбатовские мальчишки. Был у меня такой кореш. Рудик — Рудольф Эдкинд. Всё мы с ним ходили по Москве, стихи читали. А он только пить начинал. Алкаш, ещё из новеньких был... Ну, потом его, конечно, поправили. Там вылечили евреи. Сейчас поливает Россию-матушку, вполне успешно... В “Огоньке” он и тогда её не жаловал, но я этого не понимал тогда. Вид у него был, несмотря на его бесконечный цинизм и подлость, вдохновенный. Эти всегда горящие глаза. Ненасытность во всём... Помню, он был с похмелья. Денег не было никогда. И кого-то читал. А мне мать прислала деньги, и я купил себе куртку. Пижонил ходил со страшной силой. Вот плыву я рядом с Рудиком в своей новой куртке и слушаю, как он вдохновенно читает Мандельштама. Разинул, ясно, рот. Проходим лоток с мороженым. Ты помнишь те счастливые времена, когда блюдца, полные серебра, стояли на прилавках? Мой вдохновенный Рудик всей пятернёй хватает мелочь с блюдца и деру! Баба, ясно, вцепилась в меня, вернее, в мою новенькую куртку. Я вырываюсь, оставляю у этой горластой дамы рукав. Догоняю потом Рудика, он смеется, сует мне пиво... И как я ему морду тогда не набил?! Ты знаешь, растерялся от такой наглости. Это потом, когда я наглядился да наслушался этих мальчишек, много позже, когда я начал сравнивать их с матерью, с нашей нравственностью... Как-то ориентироваться. А тогда туман был какой-то... Они хвастались своей грязью... беззастенчиво... Приглашали какого-нибудь лопуха вроде меня в ресторан. Набира-а-ли! Коньяки там, шампанское... А в конце выходили якобы покурить — и с концами... Вот такой был арбатовский цвет...

— Ну, не все же такие... — неуверенно возразил Эдуард Аркадьевич. Он слушал Ивана и вспоминал свою молодую, весёлую компанию. Всё это мелочи, думал он, ведь было же высшее... Вот главное — то высшее в их прозрениях, спорах, стихах, наконец... у них было что-то подобное. Да, было... Ну, разве по этому судить... Это баба-мороженщица наторгует... Времена были такие... Лёгкие... Все давалось легко. Хлеб в мусорные ведра выбрасывали... Крупы копейки стоили... Чего уж там... Пожили!

Иван раздражённо поглядел на него.

— Ты бы хоть раз сказал что-то своё, стоящее, Эдичка.

— А чо я такого сказал?!

— Ну, хоть что-то своё! “Евреи не все плохие, русские не все хорошие”. О... едрит твою в капусту! Как оригинально!

Эдуард Аркадьевич открыл рот, глядя на запрягавшегося в тележку Ивана, и поволок за ним хворост.

Иван наварил щей. Их сытный, дразнящий дух пропитал дом.

— А хорошо мы с тобой живём, Эдичка! А? То-то, брат. Проживём! У Ваньки там в подполе капусты наквашено, картошки полно. В погребе грибочки, огурчики! Да-а, проживём. В ноябре Мезенцево кабанчиков колоть будет. Сальца насолим... Ой, будем жить.

Вечер был долгим. Они долго лежали по топчанам, думая каждый о своём. По строгому, горькому выражению Иванова лица Эдуард Аркадьевич понял, что тот вспоминает покойную жену. “Если бы я женился на Ляльке, — подумал он, — я бы её тоже так любил. До конца”. Тут, конечно, не обошлось без Марго. Недаром она набивалась тогда в послушницы к матери и даже к Софи, когда дело шло к женитьбе. На Марго он бы не женился. Он, может, и сошёлся бы с нею на время из полного равнодушия и лени,

но его отвращал запах её пота. Уж очень она потливая девушка. Правда, это не помешало Марго сочинить легенду о безответной роковой его любви к ней... Пожизненной... Софью жалко, думал он, Софью...

— Да-а, а тепер я козёл... облезлый... Облезлые мы с тобою, Эдичка... — вдруг сказал Иван.

Эдуард Аркадьевич промолчал.

— А имя у неё красивое! Лиза... Елизавета... Царица Елизавета... Да... — он встал, пошёл на кухню. Тень пошла за ним, переломившись на потолке. Было слышно, как он на кухне наливает чай, прерывая на горячей печи.

Эдуард Аркадьевич следил за ним, наслаждаясь сытым, сонным уютом дома. И в этой керосиновой лампе, в её негромком, живом свете была, как ему казалось, была своя поэзия и прелесть.

— Скажи мне, Эдичка, — спросил Иван, вернувшийся со стаканом горячего чая. — Зачем ты живёшь?

Эдуард Аркадьевич, соображавший в этот момент, не сходить ли ему тоже за чаем, от неожиданности промычал что-то невразумительное.

— Я вот живу, чтобы поддержать эту деревню. Я жду своих... Спасая Егоркино. Понял, для чего меня Господь оставил на земле. Здесь только и понял.

— А я тебе помогаю, — добродушно ответил Эдуард Аркадьевич.

— О-о-о! Это мысль! Это хорошая мысль, Эдичка! Правда, помогаешь, — признал он, прихлёбывая чай.

Эдуард Аркадьевич пересилил сон, поднялся и пошёл на кухню, следя за своей тенью. Наливая душистый, напревший чай, он заметил кусок хлеба на столе и подумал, что занесёт его завтра Клёпе. И вдруг он увидел её. Она сидела под шкафом у резной ножки и глядела прямо на него. Оглянувшись, Эдуард Аркадьевич сунул под шкаф хлеб и зашипел: — Уйди! Уйди...

— Ты чего там?!

Эдуард Аркадьевич понял, что Иван видит его тень, и закашлялся. Чай был вкусен, пили его медленно и долго. Иван поставил пустой стакан на стол, потом взял лампу и переставил её на подоконник.

— Зачем? — спросил Эдуард Аркадьевич. — Ты всегда ставишь лампу на окно.

— А пусть! Может, кто набредёт на огонёк.

— Здесь-то, ночью?

— А чо! Всяко бывает. Пусть издалека будет видно. Что не мертва деревня, а живут. Помнишь, у Рубцова, “Русский огонёк”? Ты любишь Рубцова?

— Я Пастернака люблю.

— Ну, конечно! Ты-то, конечно, Пастернака, — Иван пошёл за другим стаканом чая. — Это не твоя тут крыса?! А где Тишка? У, пада, убью! — Раздался треск, стук. Эдуард Аркадьевич вбежал на кухню. Клёпы уже не было.

— Развёл нечисть! Эта тяга, Эдичка, к крысам... она тоже нездоровая. Крысы, вороны, пауки... Вся эта шваль — от нечистого. Да-да! Есть нечистые животные... И люди... и народы, проклятые Богом...

— Началось!.. Ты расист!.. Да, расист!

— Мы с тобою не на экранах этих поганых ящичков. А один на один. Здесь, в глуши, в мёртвой деревне почти мёртвой России. И мы с тобой уже туда, в могилу смотрим... обоими глазами... Почему нам не называть вещи своими именами? Чего ты всё боишься, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич встал, нервно одёрнул свитер, пригладил ладонью височки и, раздув ноздри, торжественно заявил:

— Я ничего... ты слышишь? Никогда никого не боялся и не боюсь. Я просто с тобой не согласен. Я так не думаю, как ты. — Он нервно походил по горнице и тихо спросил: — Почему нас не берёт мир? Чего мы всё делим?! Чего нам здесь не хватает?! Мы двое... всего!

— Заметь, что ты назвал меня расистом... Подсудное, кстати, звание. В тридцатые твои комиссары за расизм расстреливали. Вот ты куда меня

подвёл. А я ничо. — Он помолчал, потом просто сказал: — Нас с тобой хоть на дуну помести, мира не будет. Мы и её разделим. Потому что в нас течёт разная кровь. Потому что у нас всё разное... Это вы тут нагородили общечеловеческие ценности... А если разобраться в грязной каше этих ценностей, то такие два пути выведут в разные истоки... Разные... Один — в Царство Божие, а другой — в ад... Так-то... Никогда мира тут нет и быть не может. Пацифисты сраные.

— В Царство Божие, уж конечно, ты пойдёшь!..

Иван усмехнулся.

— А это уж что заработаю! Только я научился отличать дорожки-то эти. На этих дорожках пол-России погибло. А Израиль весь туда рухнул...

Эдуард Аркадьевич, чуя уже знакомую силу, так стремительно поднявшемуся откуда-то к груди, изменившимся и твёрдым голосом негромко заявил:

— Не смей больше никогда... Ты слышишь? Никогда при мне не позволяй себе оскорблять... этот великий, избранный самим Богом народ! — он выдохнул. — И я требую, ты слышишь, требую, чтобы ты уважал этот народ, как, впрочем, и всякий, ставя его на подобающее ему место.

Иван с интересом взгляделся в покрасневшее, напряжённое лицо Эдуарда Аркадьевича и спокойно пошёл на кухню за чаем. Вернувшись, он заметил:

— А ты знаешь, где им место? Ну, не напрягайся... Я скажу. Ты, конечно, обожаешь Эльдара Рязанова. Ну, конечно. А как же! Я у него один только фильм и уважаю — “Небеса обетованные”. Хороший, я тебе скажу, фильм! Мечта человечества! Одни жида, и все на помойке. А главное, кончается хорошо фильм. Их забирает тарелка. НЛЮ — это же бесы! С помойки — и к бесам! А, Эдя?! Всех бы туда Гариков твоих, шестидесятников! Во главе с вашим “богом” — Булатиком...

Эдуард Аркадьевич вдруг заклокотал горлом. Он сжал кулак и изо всей силы ударил им по столу так, что задребезжала лампа на столе.

— Всё! — сказал он хрипло. — Это конец! Я уезжаю от тебя. Всё! Ноги моей больше здесь не будет!

— Эж, ты, однако, расстучался! Что-то всё стучишь и стучишь. Смотри, а то и я стукну.

Эдуард Аркадьевич развернулся к вешалке. Он медленно и демонстративно заматывал шею своим грязным шарфом, ожидая, что Иван остановит его. Но Иван лёг на кровать и, глядя на него из горницы, сказал:

— Иди! Вернёшься — жить будешь на Белкином месте. Вон в том углу. Тряпку я тебе, так и быть, кину.

Эдуард Аркадьевич раздул ноздри, надел плащ; не обнаружив в кармане очков, поискал их в горнице, потом водрузил на нос и, глядя на Ивана поверх них, строго и громко произнёс:

— Националист!

— Я тебе и хлеба брошу в угол, — спокойно добавил Иван. — Кусок отвалю вместе с подстилкой.

— Фашист! — Эдуард Аркадьевич нервно сжал бородку и, решительно пройдя к порогу, шагнув в сырой могильный мрак сенцев, громко хлопнул дверью...

— Напуга-а-ал! — донеслось ему вослед...

* * *

Эдуард Аркадьевич опомнился уже на поддороге. Он оглянулся. Окно Ивана призывно и ярко светилось огнём керосиновой лампы. Он постоял, в раздумье глядя на неё. Он вовсе не хотел уезжать. Ехать ему было и не на что, да и некуда. Там, в доме, было и тепло, и еда, и вообще — жизнь... Он было уже шагнул назад, но вдруг представил, как Иван бросит ему в угол подстилку, и решительно зашагал к своему дому.

Холод, который обьял его в раскрытом настежь доме, устрасил и отрезвил его. Он ходил по дому до полуночи и всё порывался вернуться к Ивану, тем более что спички остались у него. Но гордость превозмогла на этот раз.

Всё же надеясь, что Иван придёт, как вчера, он прислушивался к шуму за окном в ожидании шагов. Утро покрыл густой туман. Эдуард Аркадьевич проснулся от холода. Он сидел в углу на своём топчане. Борода и волосы его заиндевели. От дыхания шёл пар. Крыса мельтешила по топчану, равнодушно поглядывая на него.

— Прощай, Клёпа, — сказал он ей. — Ты была мне верным и единственным другом все эти годы. — Он заплакал, и от волнения ему стало теплее. Он походил по дому, соображая, что бы взять с собою. В общем-то, всё было на нём. Остальное — мало-мальски годное. А когда-то у него были и хорошие вещи, всё он пропил. Сначала таскал на дорогу шоферам, потом “метёлкам” в Мезенцево. Одно утешение, что и Маргошино развеялось по свету. Эдуард Аркадьевич потёр тряпкой лацканы и рукава своего плаща, надел его, прочесал пятернёю бородку и вздохнул.

— Прощай, русская жизнь. Поеду к новой цивилизации!

На крыльце он подумал, подпереть ли дверь колом, но, махнув рукою, всё оставил распахнутым. Назло Ваньке — и дом, и калитку во двор. Иванова труба сочно трубила в небо дымом. Эдуард Аркадьевич дёрнул шеей, нагнул глубже на уши свой беретик и быстро зашагал по просёлку. У околицы он последний раз с тайной надеждой, что Иван догонит и вернёт его, оглянулся на Егоркино, на Сапожниковский дом с его распротёртыми крыльями амбаров и клювом конька, на пустынную дорогу и одинокий трубный дым. И, повернувшись, пошёл в Мезенцево.

* * *

В селе он был к обеду. У Метёлкиного дома стояла Герочкина “Тойота”. И Герочка таскал из задка машины ящики с водкой. Метёлка принимала их через открытые ворота.

— Вон оно что! — удивился Эдуард Аркадьевич не столько тому, чем они занимаются, сколько равнодушному выражению их лиц. Эдуард Аркадьевич был голоден и устал. Он с надеждой глянул на Метёлку и подумал: “Плащ, что ли, продать ей?..”

И она, словно прочитав его мысли, с холодной оценкой скользнула по нему глазами и равнодушно опустила их. Выражение её мраморного лица было высокомерно-холодным.

“Тоже мне, леди, — подумал он сконфуженно, — я извиняюсь”, — и прошёл мимо. Ему решительно не везло. День так и не вылучился из тумана. Сырая мразь доставала до костей. Он три часа ждал автобуса до Качуга, потом едва забился на заднее сидение и тут же забылся нервным сном. Его растормошила кондукторша.

— Дед, плати...

Эдуард Аркадьевич долго глядел на неё, не понимая, что от него требуют.

— Льгот для пенсионеров нет... Отменены. Плати за проезд, дедушка!

Тогда он понял и стал продвигаться к выходу. В салоне автобуса заволновались.

— Пусть едет старик! Чего тебе. Пенсию с мая не давали.

— Они нас скоро на живодёрню сгонят.

— Много чести. Сами передохнем!

— Господи, Господи! Когда это кончится! Со стариками, как со скотами.

Кондукторша недовольно отвернулась от него и стала проталкиваться по салону.

— Садись, дед, пронесло, — кто-то усадил его на место рядом с собою. Эдуард Аркадьевич вдруг заплакал. Он осознал, какой он старый и нищий, и жалкий старик. И куда он едет и зачем?!

— Не плачь, дедушка, — участливо сказала ему соседка. — На-ко вот покушай моего хлебushка.

В руках у Эдуарда Аркадьевича оказался кусок хлеба, и он, не замечая — как, начал жадно есть его, крошки полетели в бороду, смешиваясь со слезами.

— Во как дожил человек. Хлеб со слезами ест.

Эти слова, наконец, достигли его ушей, поразив его тем, что они относятся к нему.

— Старость-то какая наша. Собачья...

— Собакам-то проще. Им всё какой похлёбки вынесут, — заметили над головою. — А нам и куска никто не подаст.

— Подали. Всё прибудняетесь.

Эдуард Аркадьевич повернулся к соседке и увидел круглое участливое лицо, с ясным румянцем на мягких старушечьих щеках.

Старушка дождалась, пока он съест кусок, и спросила:

— Ещё?

Он согласился.

— Пенсия-то маленькая, видать.

Он промолчал в ответ.

— Чего? Совсем нет! Да как же ты так! А старуха живая?

— Нету, — с умилением сказал он, удивляясь тому, что эта старушка говорит с ним снисходительно, и что слова “дед” и “старуха” относятся к нему.

— Ой, батюшки, да ты сам-то откуда и к кому?

— С Егоркино! К сыну.

— С Егорки-то! Да к его нет давно. Там живёт, говорят, один полоумный... Пстой, так это ты и есть?

Старушка оказалась вовсе не божьим одуванчиком, а крупной и крепкой, высокой бабёнкой. Она довела его и усадила на лавочку, и Эдуард Аркадьевич, опознавая в ней черты и замашки своей ровесницы, удивлялся, что она почитает в нём глубокого старика. На скамеечке не сиделось. Небо вспучилось, посинело. Мелкий, колкий, осенний дождь только начался. Эдуард Аркадьевич поднялся и пошёл к автовокзалу. Он тоскливо постоял у киосков с табаком, банками, какими-то немислимыми бутылочками, потом прошёл по рядам с домашней и огородной снедью, обошёл автобусы и наткнулся на свою спутницу. Она сидела на скамеечке, притулившись к своему рюкзаку, и дремала. Он крикнул от неожиданности, она открыла глаза.

— Боже ты мой! Ещё не уехал. Автобус же отходит! Слышишь!

Что-то бубнили по громкоговорителям, но он не слушал.

— Вот навязался-то! Пойдём. — Она закинула на спину рюкзак и взяла его за руку.

Автобус на Иркутск уже готов был к отходу, и из салона выходила проверяющая билеты.

— Слышь, милок, возьми дедку. — Женщина толкала его в автобус.

— Билет пусть покажет.

— Ну, какой билет, какой билет! Дед к сыну едет!

— Ну, всё, проехали! Выходи, дед.

— Ты человек или кто, — женщина подпирала Эдуарда Аркадьевича плечом в дверях, а шофёр вытеснял его своим плечом.

— Их здесь вся Лена, таких дедов... Все без пенсии... Не перевозить.

— Да на, на тебе, подавись, — она сунула в карман шофёра пятидесятку, и тот ослабил натиск.

Эдуард Аркадьевич ехал с комфортом на первом сидении, смотрел в окно на прозрачные леса и думал об этой женщине с умилением. Ему даже показалось, что он встречался с нею по жизни... “Она, несомненно, образованна. — Он мог встретить её в тех турпоходах... Или в Политехническом... — Сколько там было лиц, женщин... — Он сидел в первых рядах и видел Женю, и Андрея, и Баллочку, и Окуджаву... Он слышал его дребезжащий магический голос и молодое, единое, бьющееся сердце зала. — О, этот огонь в жилах! И желание сгореть в этом огне... общем, и сцепление рук, локтей... И мефистофельский профиль Булата над всем этим. Дыхание прогресса... — Он помнит его. — Ивану с его печкой ничего такого не понять. Он всегда будет врагом прогресса со своей печкой... Нужно отодрать его от печи, чтобы он стал человеком... — Это прозрение наполнило его гордостью. — Не такой уж я дед, — думал он... И чем дальше он отъезжал от Лены, тем больше понимал, что сделал правильно. — Словно кто-то подтолкнул меня... Да-да...”

Иркутск встретил его холодным октябрьским дождём. Был вечер, и Эдуард Аркадьевич не узнал своего города. Он жил много лет в этом городе и не забыл его, но не узнал. И не то чтобы город расстроился. Он стал чуждым, базарным, со множеством нерусских лиц, каких-то неприютных киосков. И это смешение китайских, кавказских типов с серостью нагромождённых кварталов, смрадный дух торговли везде и какая-то притаённость и тяжесть в русском лице — всё это бросилось ему в глаза. “Научил меня Ванька”, — усмехнулся он и грустно натянул берет на уши. На развилке дорог у рынка в нерешительности остановился. Собственно, выбор у него был невелик. Бывшая семья... “А почему бывшая, — подумал он. — Не такая уж и бывшая! Ведь не может быть бывшим сын или внук... Да и Софья...”

Дверь открыл сын. Он встал на пороге, сутуловатый, уже полнеющий, массивная голова впроседь, плотные рачьи материнские глаза подслеповато мигали под квадратными роговыми очками. Он, видимо, не узнавал отца. Во всяком случае, молчал. Эдуард Аркадьевич смотрел на него, удивляясь тому, что вот этот грузно осевший мужик и есть тот когда-то светлый мальчик, которого он носил на руках, а потом таскал с собою в турпоходы. Он не видел его лет десять. За эти годы сын полностью распрощался с молодостью и смирился с жизнью.

— Бобби, — наконец выговорил Эдуард Аркадьевич, — сынок, — и закашлялся.

Сын всё так же ошалело молчал, потом отступил вглубь квартиры, и Эдуард Аркадьевич вошёл в прихожую.

— Кто там, Боря? — услышал Эдуард Аркадьевич голос Софьи.

— Отец! — сказал Борис.

В квартире установилась абсолютная тишина. В прихожую вышла невестка. Эдуард Аркадьевич с трудом узнал её. Классически глупая, она всё же была когда-то очень мила и напоминала ему розового тюленя. Но сильно страдала от своей полноты, увлекаясь всевозможными диетами. Видимо, диеты сделали своё чёрное дело. На него смотрела костлявая дама с сожжёнными перекисью пегими волосами и плотно сжатым, съеденным ртом. Глаза её горели зло и голодно. Но неистребимая глупость не исчезла из её когда-то наивных глаз, и он узнал её по этому исключительному оттенку в глазах.

Эдуард Аркадьевич втянул шею в плечи в знак приветствия, и невестка затрясла своими выкрашенными кудрями. Над нею сразу появился их сын и его внук, здоровый, нескладный, с косицей и золотой цепочкой на крупной шее, в кожаной жилетке на голом теле. Он с минуту таращил свои фамильные глаза навыкат, потом рявкнул басом:

— Здорово, дед! Классно выглядишь. Ба! Иди сюда!

И, наконец, появилась Софья. Она медленно выплывала из проёма кухни. Вначале он увидел её крупную породистую голову, литуую от седин, с высокой причёской, и скорбный рот, и она подняла свои тяжёлые и плотные веки.

— Эдуард, здравствуй, — тихо сказала она. И Эдуард Аркадьевич сразу ощутил всю тяжесть вины перед нею. Он глубоко вздохнул, сказал:

— Соня, я приехал... — и заплакал.

Вся семья молча смотрела на него, а он, в потёртом беретике, в засаленном допотопном плаще, тербил грязный шарф и плакал...

Его кормили нарочито шумно и наперебой. Софья сидела напротив с отстранённым, как всегда, жертвенным лицом, незаметно собирая крошки, которые он ронял вокруг тарелки и на брюки, подстилая ему салфетки. А он тихо благодарил, ел всё без разбору, не ощущая вкуса. Самого ужина он вообще не запомнил. Ночью, лёжа на гостевом диване в зале, он пытался вспомнить, что ел на ужин, и не вспомнил. Помнил лицо жены, её опущенные вниз глаза и поседевшие брови. Он нашёл, что она стала с годами интереснее. Ей и полнота очень идёт.

Утром он нашёл на стуле подле постели хорошо выглаженные брюки, чистое бельё, свежую рубаху и не новый, но добротный свитер.

— А где моё? — спросил он внука.

— Брось, дед. Лежи, я буду тебя писать. Ты знаешь, что у тебя внук художник? И неплохой, кстати! Да, да... И бабки хорошие на этом зарабатывают. Баксами, дедуля. Баксами. Так! Лежи так! Не двигайся. — Он уселся на стул, раздвинул мольберт и поставил холст. — Ты меня помнишь маленького? — Движения внука были энергичны и решительны.

— Помню, конечно, — ответил Эдуард Аркадьевич, взглядываясь в лицо внука. Боб не был похож ни на отца, ни на деда. Он явно выдался в материнскую породу. И он вообще-то почти не видел внука. Боб, названный в честь отца, сидел, широко раздвинув длинные, жилистые ноги, поблёскивал серьгой в ухе и ляпал кистью по небольшому холсту. — Тебе там ба... записку оставила.

— Её уже нет?

— Она рано уходит. Включи-ка телевизор...

В записке Софья просила взять ключ, позавтракать и уведомляла, что вернётся к обеду.

— Портрет готов! — Боб повернул холст к деду. Эдуард Аркадьевич увидел нагромождение треугольников и квадратов на фоне ярких мазков.

— Э-э... Ты... авангардист?!

— А ты думал! Живопись — старьё. Всё это фуфло — на свалку!

— Свежо, — наконец нашёлся он. — Оригинально! — прочитал подпись: Борис Гольдберг. “Портрет деда”.

— Шас я его продам... Заложу будь здоров!

— Так просто?

— А, дед! Ты отстал от жизни! Вон, послушай нашу ба... и учись. — Боб включил телевизор и через минуту его не стало — Эдуард Аркадьевич остался один в квартире. Он глянул в телевизор. Показывал канал областной газеты. Говорила Софья. Эдуард Аркадьевич вслушался. Она говорила гладко, складно и убедительно. Речь шла о Югославии, о несчастьи албанцев, она ясно склоняла к целесообразности бомбовых ударов НАТО по Югославии. Эдуард Аркадьевич отстранённо поглядел на бывшую жену и умилился. Да, она была сейчас красива, внушительна... авантажна. Так, как не была интересна в молодости. И хорошо, что она пополнила. Как достойно она носит своё высокое, обильное тело... И это литое крыло седины, делавшее её облик ещё скорбнее и величавее.

Выключив телевизор, Эдуард Аркадьевич стал осматривать квартиру. Она и в те времена, когда они были вместе, была хорошей. Софья всё умела устраивать. Сейчас квартира показалась ему роскошной. И мебель, и ремонт, и устройство. Всё было новым. Как давно он не был в Иркутске в этой квартире! Он заглянул в боковую комнату Боба. Стены увешаны его картинами. Авангард — аляповато... Всюду кричащие рты, груди с дулами орудий вместо сосков. Цвета ядовитые. На полке, рядом с выточенным из дерева дьяволом, — пачка долларов. Эдуард Аркадьевич, никогда не бравший их в руки, с любопытством рассмотрел одну бумажку с цифрой сто. Немного поколебался и положил назад. Комната Софьи похожа больше на кабинет: письменный стол, кресло, тахта, застеленная белой шкурой, книги. В комнатах супругов богато застелено коврами. Китайские вазы на полу.

Мебель светлая, гарнитуры, как он прочитал на шкафах, карельской берёзы. Книг у Бобби не было, картин тоже. Стояло множество дорогих сервизов, хрустальных ваз, азиатской и китайской пестроты. Он вспомнил, что его невестка когда-то работала в школе учителем, однако никаких следов книги или вообще работы с нею, даже бумаги, не было в двух комнатах его сына. Взгляд Эдуарда Аркадьевича привлекла большая шкатулка из резного дерева. Сверкающая инкрустацией, красивая шкатулка. Пока он её рассматривал, она как-то сама раскрылась, и Эдуард Аркадьевич увидел деньги и доллары. Он, словно ужаленный, поставил её на место и вышел из комнаты. В тот же миг застучал ключ во входной двери, она раскрылась, и в проёме появилась София. Она была мокрая от дождя, посвежевшая осенним румянцем, с блестящими глазами. С сумками в руках.

— Голодный? — спросила она с ходу. — Сейчас будем обедать.

Он бросился её раздевать, неумело подставляя руки и удивляясь тому, что забыл, как ухаживают за женщиной и как это приятно. Её плащ пах французскими духами.

“Ещё влюблюсь”, — подумал он, бережно расправляя его по плечикам.

София деловито одёрнула плотный свитер на своём большом, раскормленном теле и понесла сумки на кухню.

Обедали вдвоём. В тишине стучали вилки и ножи.

— Ты разучился цивилизованно кушать, — заметила София.

Он согласился и от неловкости так скользнул вилок по тарелке, что макароны вылетели из неё, заляпав скатерть красным соусом. Эдуард Аркадьевич закашлялся и встал из-за стола.

После обеда София вязала, а его усадила в кресло напротив.

— Ты знаешь, я буду хлопотать себе пенсию, — сказал Эдуард Аркадьевич.

— Да, я уже сделала несколько звонков из редакции сегодня, — ответила она, не поднимая глаз. — Тебе придётся побегать по городу, взять несколько справок... А может быть, я сама всё сделаю. Я ведь заслуженный деятель культуры.

— Ты?!

— Чему ты удивляешься? Мать твоего внука, между прочим, заслуженный учитель России... У тебя вполне интеллигентная семья.

Он посмотрел на неё с восторгом, умилением и благодарностью. Софья покраснела.

* * *

Как-то тихо и незаметно потекли дни. Октябрь ещё грел, но уже не лучился. Город был всё ещё чужим, но уже не пугал, и Эдуард Аркадьевич шатался целыми днями по городу. Боб, однажды придя домой, отстегнул ему сотенку долларов.

— Держи дед, ты заработал. Это тебе за портрет.

Боб редко бывал дома. Пропадал, когда и куда захочет, и ни перед кем не отчитывался.

Вообще Эдуард Аркадьевич вывел, что все жили своей жизнью и собирались вечерами к Софье на кухню. Она готовила неплохо и постоянно. Сын появлялся всегда после девяти вечера и уходил в свои комнаты. Иногда он заговорщицки подходил к отцу и шёпотом предлагал ему деньги. Эдуард Аркадьевич брал. Собственно, они были ему не нужны. Его одели и кормили. Он складывал деньги в стопочку на столике у своей постели. Он был бы полностью спокоен и счастлив, если бы не невестка, которая следила, как ему казалось, за ним своими голодными и злыми глазами. Она не разговаривала с ним никогда, а в его присутствии говорила только о “бичах, бомжах”, о том, что она бы их стреляла. Говорила она всегда громко, отрывисто, ни на кого не глядя. Эдуард Аркадьевич, глядя на неё, совсем не узнавал в ней того очаровательного розового тюленя, по-детски наивного... Конечно, вся заслуженность невестки — дело рук Софии. Однажды он застал невестку у своего столика. Она пересчитывала его пачечку денег. Увидев его, побелела, фыркнула и, раздувая ноздри, молча ушла в свои комнаты. Эдуард Аркадьевич видел, что сын совершенно равнодушен к невестке. Однажды, гуляя по городу, он встретил его с невысокой, полной блондинкой и втайне позлорадствовал над невесткой. Он давно забыл о своей пенсии и о своём обещании хлопотать о ней. Был беспечен и спокоен, как в старые времена при жизни матери. Софья, кстати, с годами как бы вылилась в портрет его матери.

Эдуард Аркадьевич гулял, наслаждаясь городом и воспоминаниями. Кроме того, он искал следы Октября или Дуба. Он даже втайне мечтал встретить их случайно. Но на улицах мимо текла река чуждых и чужих, совсем новых людей, никак не похожих на тех, которые жили в этом городе ещё десять лет назад. Однажды он прошёл мимо дома, который ему сильно напомнил дом

Дуба. Он обошёл его вокруг, оглядел окна. Потом вошёл в знакомый подъезд. Чем выше он поднимался, тем больше убеждался, что идёт верно. Наконец, он увидел настежь распахнутую дверь. Это могла быть только дверь его друга. Он вошёл в квартиру. Пахнуло запустением и нищетой, застоялым запахом залежавшихся тряпок. Старостью. В квартире было темно от грязных, завешанных грязными тряпками окон. В двух комнатах не было решительно никакой мебели, только в углу на большой сетке кровати что-то шевелилось. Эдуард Аркадьевич подошёл ближе, наклонился и отпрянул от крепкого водочного перегара, исходившего от чёрных тряпок, прикрывавших кого-то.

— Дуб! — позвал Эдуард Аркадьевич. — Это ты?

Под тряпками притаились.

— Дубовников... Володя!

Молчание под тряпками было осознанным.

— Владимир, это... ты...

— Ну, я, я! Ну, чего вам ещё! Дайте мне помереть спокойно!

Тряпки разлетелись во все стороны, и тяжёлый, заросший чёрной, впроедь, бороною, лохматый, сизый от перепоя и похмелья, перед ним предстал его старый друг.

— Я вам сказал, что заплачу, — закричал он. — С первой пенсии начну платить. У меня через неделю юбилей, шестьдесят лет, пенсия... Вот и начну платить. Дайте мне помереть.

Эдуард Аркадьевич открыл рот, но мужик, которого он ещё не совсем узнавал, заорал ещё громче:

— А за что платить, за что?! Я вам не мать Тереза, благотворительностью не занимаюсь. Свет отключили, батареи отключили. За что платить-то... За что? — он вскочил и напирал грудью на Эдуарда Аркадьевича. — Это вы должны платить нам... За вредность! Я на телевидении работал! Я вас выведу на чистую воду. Хватит! Попили кровушки! У меня друг депутат! — Он взмахнул рукой, изображая Октября, и Эдуард Аркадьевич окончательно узнал его.

— Дубчик! Дуб! Не узнал?!

Дуб застыл с указательным пальцем, направленным вверх.

— А почему я должен узнавать вас! Постой... Постой... Ты кто?

— Я Эдичка...

— Какой Эдичка? Не знаю я никакого Эдички! Ты не из домоуправления?! Ну, и какого хрена меня будишь? Иди, иди. Я подаю под Пасху. Ночевать негде. Постой, а это не ты у меня часы упёр? Ты! По глазам вижу — ты! Сука, отдай часы!.. Это фамильные...

— Дуб, это я, Эдичка!

— Какой Эдичка? Какой Эдичка... Ты Эдичка! Постой...

— Я... Я... Эдуард Гольдберг...

— Боже! Бо... Дак он умер... Ты разве не умер, Эдичка?

Эдуард Аркадьевич возмутился:

— Ду-уб!

— Эдя! Друг! Эдичка. — Дуб с размаху обнял его. — Эдя... Друг, — Дуб плакал. — Ты знаешь, они сказали, что ты... умер.

— Кто это они?..

— Они... сволочи... Знаешь, Эдичка, все сволочи... Меня, видал, как грабанили?.. Ай, да ладно... Все мы... Ты помнишь Гарика?

— А как же! А ты помнишь Ляльку?

— Ляльку! Твою Ляльку! А как же! Эх, жаль, Эдик, я, как вошь, ныне... Только под ноготь... А то бы мы с тобою...

— У меня есть... Только мало с собою... Я из дома принесу.

— Дома! А ты где живёшь, Эдичка?

— Ты знаешь, я вернулся к Софье...

— Во как! И приняла... великая женщина...

— Да, да... София великая женщина! — Эдуард Аркадьевич смутился и замахал руками... — Она великая...

— А я вот один...

— А почему у тебя дверь-то так... нараспашку...

— А... Сучонку одну ждал... Бертолетку. Дал ей пятидесятку на пиво, она с нею и накрылась. Придёт... недели через две. Холодно... У меня всё отключили... Всё: отопление, электричество... Я лёг помирать...

— Я сейчас. Ты не помирай. Я сейчас приду. — Эдуард Аркадьевич поспешно поднялся.

На карманные деньги свои он купил Дубу пива и бутербродов. Стукнулись гранёными стаканами.

— За встречу! Эдик, за встречу! Господи, счастье-то какое! Встретились...

— Дуб... Дуб... Дубочек! — Эдуард Аркадьевич всё повторял это и утирал слёзы.

Выпив пива, Дуб обрёл силы.

— Не горюй, Эдичка, до юбилея я не помру. Ты же помнишь, я октябрьский... Октябрьский.

— А где сейчас Октябрь?

— Да я вот тоже о нём думаю. Он ведь помощник Пэна. Сейчас мы к нему и рванём!

* * *

Город в этот день был тихий, солнышко смирное. Они вышли из подъезда. Дуб — в свитере, на шее — что-то вроде полотенца.

— А ты одет, — сказал он Эдуарду Аркадьевичу.

— А, это... Боба...

— Бо-ба! Как он?

— Хорошо. У них всё хорошо, — сказал Эдуард Аркадьевич, впервые за эти дни отделив семью от себя.

На центральной улице Дуб приостановился.

— Подожди. У меня тут кое-что есть. — Он нырнул в двери одного из вестибюлей. Эдуард Аркадьевич поднял глаза. Это была многотиражка. Дуб и вправду вышел с деньгами, сияющий и весёлый.

— Эдичка! Хоть на трамвае по-человечески проедем.

В трамвае они проехали хорошо. Даже сидели, а вот в ворота пэновской фирмы их не пустили.

— Мне к Октябрю! Немедленно позвоните ему! Почему меня не пускают к моему депутату? Сволочи! Прячут от нас народных избранников! Эй, ты, нажми-ка на свой матюгальник. Ишь ты, вырядился. Едва на свет выдупился, а уж хозяин... Видал, Эдичка! Этот Пэн в 74-м наше гражданство только принял. А он уже наш хозяин, моим государством управляет.

Как ни странно, Октябрь появился сам у проходной.

— Где у тебя тут демократия? — заворчал Дуб. — Я шарф напялил, а твои сопляки меня не пускают. Чо вы тут развели?.. Ты где их понабрал?

— А это кто?! — спросил Октябрь, выбросив в сторону Эдуарда Аркадьевича долгую свою руку с шерстистой ладонью.

— А, не узнаёшь?.. Я сам не узнал!..

— Эдька, — рявкнул Октябрь. — Здорово! Я тебя сразу узнал.

Они поднимались по лестницам громадного плакаблочного здания. На всех лестничных пролётах их встречали дежурные, молодые парни в чёрном, с телефонными трубками в руках. Октябрь ступал впереди, высоко поднимая длинные жилистые свои ноги. Он не то чтобы постарел, но как бы подсох и окостенел. Мосластость так и выпирала из его громадного обезьяньего тела. И череп с редкими уже белыми волосами стал обнажённым, мослатым, из-под высоких надбровных дуг глядели глубокие и бегающие, как тараканы, глаза.

— Какие у вас проблемы? — деловито спросил Октябрь, вводя их в кабинет и бросая в чёрное кожаное кресло, завертелся с ним во все стороны. Кабинет его был заставлен столами, телефонами и компьютерами. Чёрные жалюзи на белых окнах.

— Ты знаешь, они у меня отключили тепло и свет.

— Кто? — Октябрь взял в руки карандаш.

— ЖЭК наш, кто! Давай разбирайся. Я не для того твоего узкоглазого корейца избирал, чтобы подышать без электричества. Нечем мне платить. Сам знаешь.

— Ну, это ты зря! За корейцами будущее! — сказал Октябрь, энергично нажимая кнопки на компьютере.

— Октябрь, а ты помнишь деревню? — мечтательно спросил Эдуард Аркадиевич.

— Эдя, проехали! Всё это рухлядь! Будущее не за Россией. Эта грязная старушка обязана кануть в Лету. Её время на Земле кончилось! Грядут евразийцы. Ты знаешь, Эдичка, что это такое?!

— Я читал...

— Читал! Ничего ты не читал! Это европейский интеллект со свежей азиатской энергией. России места в жизни нет. Она увяла вместе со своей дряблой моралью и пресным Православием.

— Ты же еврей, Октябрь! — заметил Дуб. — Тебе тоже нет места в этом евразийстве.

— Евреи — элита Мира! Они управляют всеми народами — и европейским, и азиатским. Судьбы мира решают они!

Эдуард Аркадьевич тоскливо отвернулся...

Они вышли из офиса народного депутата под вечер. Солнце уже скрылось и сразу похолодало. Жёсткий колючий ветер катал по асфальту сухую листву. Пахло близким снегом. Прохожие были сумрачны и торопливы.

— Жлобина! — сказал Дуб обиженно. — Даже чаю не предложил. Что власть с людьми делает!

Они зашли в магазинчик, и Дуб, вздохнув, вытащил свой гонорарчик, состоящий из одной пятидесятки. Её хватило на бутылку водки, хлеб, чай и сахар.

— Богато живём, Эдичка!

— Ты знаешь, у меня есть сто долларов!

— Ты чо, с ума сошёл?! Покажи.

— Дома. Мы устроим тебе юбилей. Октября позовём.

— Ага. Пойдёт он тебе! Он сейчас большие банкеты посещает. Да Бог с ним, Эдичка! Ты принёс мне удачу. Пойдем выпьем за встречу.

Свою дверь Дуб толкнул ногою и быстро зашёл в квартиру, заглядывая во все углы. Он словно надеялся встретить кого-то дома. Как ни странно, свет зажёгся, и батареи потеплели.

— Слава Октябрю! — гаркнул Дуб, распечатывая бутылку.

Стол накрыли на полу, на газетке нарезали хлеб. На кухне кипел чай.

— Живём, Эдя! За встречу!

Эдуард Аркадьевич всматривался в лицо друга. Он опустошился и постарел за эти годы. Движения стали суетливы и неверны. Подлазья обвисли, налились багровой жидкостью. Пил он жадно и шумно, хлеб крошил.

— Эдька! — а! Хреновая у нас с тобой старость. Тебя хоть Софка подобрала... А я четыре раза был женат, и вот, — он рукой указал на пустынную комнату... — А какие были красавицы! Ты их помнишь?

— Всех четырёх! — решительно подтвердил Эдуард Аркадиевич. — Красавицы все...

— Да. Я их для форсу выбирал... вначале... Потом влюблялся... а потом... Да чего уж теперь.

— Все красавицы...

— Все четыре!

— И ведь еврейки все!

— Все четыре!

— Но какие-то бездомовные, а!

— Чо теперь! Я их любил, я всех своих баб любил, Эдичка. Я им благодарен. Какая была жизнь! Ты помнишь наши шестидесятые?

— Дуб! Ду-уб... Да как же! Ещё бы! Какие мы были.

— Мы были молодыми, высокими... Да-да, высокими... Мы не только верили, мы строили всё это... Ведь это мы построили, — на глазах у него

выступили слёзы. — Я снимал перекрытие Братской ГЭС, я перекрытие Иркутской ЭС снимал... ЛЭПы... Ты помнишь, как везли рояль для Пахмутовой через перевал?! А БАМ... И сейчас кучка этих грязных скотов там, — он поднял вверх пальцы... — Она, которая всё разорила и обгадила... И это единственное, на что они способны... Они нас... совками... Они нас... Я всё смотрел, Эдя... Как они избивали демонстрации... А Белый Дом!

— Я ничего не видел! Я жил там... там, в Егоркино!

— А, ты всегда был вне всего... Я бы тоже... но... Ты знаешь, эта подлая Бертолетка ободрала меня, как липку. И скрылась. Уж если Бертолетка меня бросила, то дела мои швах...

Он встал, вынул из брюк ключ и подошёл к туалету, и тут только Эдуард Аркадьевич заметил замок на двери уборной.

— Вот моё богатство! — Дуб завёл его в уборную. Она была оборудована под фотолабораторию. Здесь стоял объектив, лежали стопки бумаги, фотоаппараты, даже камера. В углу у толчка — высокая стопа альбомов. — Моя жизнь, Эдичка. Вот она. Здесь и ты есть. — Он потянулся к альбому... — Это вот рабочие. Самые интересные — мои. Вот “гидры”, это БАМ. Вот — ты помнишь Казакова? — это я с ним. Вот я с Евтухом.

— Да, он был нашим знаменем...

— Да... А это я с Лёшей Марчуком... Помнишь, “Марчук играет на гитаре...”?

— “И море Братское поёт...”

— “Поёт... Поёт...” Эх, чем была плоха жизнь, Эдичка! Меня всё тянет к этим альбому, всё смотрю разные периоды своей... Вот, гляди, вот мы... какие новенькие стоим... Вот твой Гарик, Октябрь... а ты-то — сокол! Вот Лялька твоя... с тобою.

Эдуард Аркадьевич задохнулся:

— Дуб... дай! Дай, Дуб!..

— Только после моей смерти! — внушительно по слогам ответил друг.

Эдуард Аркадьевич без отрыва смотрел на Ляльку. Они стояли в обнимку. Он — высокий, светлый, с мальчишеской улыбкой, стройный, с красивым тонким интеллигентным лицом. Лялька держала его за талию, и острая братсковатая её головёнка торчала под его плечом. Он удивился, что она совсем некрасива на снимке, даже не симпатична. В каком-то закатанном трико, с коротковатыми ногами, скорее, подросток-пацанка, чем женщина...

— Да, старик, — задумчиво сказал Дуб. — Из нас ты один умел любить. Я женился ради дурацкого престижа. Мне нравилось, что рядом идёт красивая баба. Гарик — вообще по расчёту... Октябрь, — Дуб махнул рукой. — Любил только ты из нас... Буфетчицу с такими ногами... Конечно, её только любить...

— Ну, Дуб, не ожидал от тебя...

— А чо я такого сказал? Я тебе комплимент сказал. У меня нет ни одной любимой женщины... Да, Эдичка... Я, наверное, скоро умру, поэтому и говорю, как есть... Лежишь, лежишь ночью, думаешь, вот кого бы ты хотел рядом? А никого бы не хотел... Эдичка, как же так... Хотя бы одна осталась... Все, как сквозь сито... все прошли... — Дуб вздохнул, поднял в знак приветствия банку с водкой и отхлебнул, потом замотал головою. — Сучок продали... сволочи... Я помру, Эдичка! Да, да... Чего там, мы не дети... Я вот иду по улице и думаю: “Я последний раз это вижу”. Смотрю на жёлтые деревья... На солнце и думаю: “Последняя моя осень...” А недавно мать приснилась. Ты помнишь мою мать?!..

* * *

Домой Эдуард Аркадьевич вернулся поздно. Ещё на лестнице в подъезде услышал шум в квартире. Открыл ключом дверь, и шум сразу затих. Невестка глянула на него, как на очковую змею, и демонстративно ушла в залу. Внук вышел к нему с разбитой губой.

— Что с тобою? — спросил дед.

— Всё в порядке, дед! Ты не волнуйся — я на этом хорошо заработаю.
— Ничтожество, — истерично вскрикнула невестка. — Если всякое ничтожество будет бить моего сына! Я не позволю! Мальчик мой!

Эдуард Аркадьевич впервые услышал её полный скрежета, громкий голос.

— Это типичное проявление антисемитизма, — спокойно заметила Софья. — Это нельзя так оставлять. Я приму все меры...

Оказалось, что Боб оставил в училище зажигалку. Один из сокурсников её взял. Боб привёл милиционера к этому сокурснику и изъясил зажигалку. На следующий день его побили. Боб уже написал заявление, и дело передаётся в суд.

— Зачем же в суд, — удивился Эдуард Аркадьевич. — Зачем тебе это... Не по-мужски.

— Спокойно, дед, спокойно! Мне нужны бабки. Я заработаю на этом... И весьма прилично.

— Нельзя позволять антисемитские выпады! — заявила Софья, с укором глядя на бывшего мужа. — Разве ты не понимаешь?

Невестка билась в тяжёлой внутренней истерике. Она побелела, скудное ледяное лицо её судорожно дергалось. Только Бобби-старший как-то странно и отстранённо молчал. Было видно, что ему не в новость подобные шаги сына, и он их не одобряет. Он сидел на стуле — нескладно-полнеющий, так похожий на него своей нерешительностью, и Эдуарду Аркадьевичу захотелось пожать ему руку. Вместо этого он только значительно прикрыл глаза, и ему показалось, что сын его понял. Проходя к своей тумбочке, он подумал, что предприимчивый его внук, вполне возможно, делает на этом бизнес.

“Что бы сказал Иван!” — вздохнул Эдуард Аркадьевич, беря в руки свою пачечку денег, и вдруг обнаружил, что пропали стодолларовые бумажки. Он лихорадочно пересмотрел деньги, потом залез в тумбочку, заглянул под ковёр и под подушку. Потом поднял голову и увидел победный взгляд невестки. Она злобно усмехнулась, потрясла своими кудрями и ушла к себе. Он всё понял. От расстройства он не стал ужинать. На молчаливый вопрос Софьи пробормотал что-то невразумительное.

На другой день он не пошёл к Дубу, а шатался по городу, заглядывая в переулки. Даже добрёл до своего дома, в котором он родился и в котором умерли его отец с матерью.

Он сидел на лавочке возле уже перестроенных ворот, смотрел на акацию, из которой когда-то мастерил свистульки, и плакал. Из двора вышел мальчик и спросил:

— Дедушка, ты чего плачешь? Ты, наверное, кушать хочешь?

Мальчик ушёл в дом и вернулся с бутербродом. Эдуард Аркадьевич взял кусок хлеба, намазанный маслом, сказал:

— Какой хороший мальчик, — и всхлипнул.

Он забывал о том, что надо хлопотать о пенсии и добывать какие-то справки. Софья мягко, но настойчиво напоминала ему об этом. И сама делала какие-то справочные звонки даже при нём. Он всё откладывал. Потом, думал, вот отдышусь, втайне надеясь, что всё устроится само собой. Ведь он никого не обманывает. Ему ведь правда шестьдесят лет, и когда-то ведь он работал, учился. Ведь он не требует бешеной какой-то пенсии, какая, он слышал, есть у военных или милиционеров. Ему бы хоть скромную, хоть какую, которую он отдавал бы Софье, или Ивану, или Дубу... Не всё ли равно, кому отдавать? Хоть в дом престарелых. Ах, как хорошо было с матерью! Ни о чём не надо было думать. Всё и всегда было готово. И почему он, так любя мать, так и не смог свыкнуться с Софьей? Домой он пришёл потемну. И опять все замолчали. Тягостное молчание сопровождало его в доме. Он попытался проникнуть в комнату Боба, но, когда вошёл, очумел от светомызыки, гремучего грома, тьмы и зарева, в котором лежал его внук.

— Боб, — окликнул его Эдуард Аркадьевич. — Боба. Давай поговорим!

Внук не двинулся. Эдуард Аркадьевич сел к нему на постель и, взглядев-шись ему в лицо, отшатнулся. Боб не видел и не слышал деда. Страшные тени светомызыки цветными полосами пробегали по бледному, вытянувшемуся его лицу. Глаза невидяще блуждали. Эдуард Аркадьевич кашлянул.

— У меня есть друг, Боб. Старый... С юности... Он очень беден. Не думай, это очень порядочный человек... Это даже великий человек... Гениальный оператор... фотограф... У него юбилей, а... столонларова пропала... Боб, я не знаю, кто её взял... но как она была бы кетати...

Тут он заметил, что в проёме открытой двери стоит невестка. Боб так и лежал, закатив глаза. Встав с постели, Эдуард Аркадьевич увидел на полу шприц. Часа через три Боб вышел из своей комнаты. Он был весел и деловит.

— Привет, дед, — сказал он, лихорадочно потирая руками, и, не оставливаясь, прошёл на кухню.

“Знает ли Софья! — думал Эдуард Аркадьевич. — Неужели она не видит?”

* * *

Он восскорбел духом и на время забыл о Дубе. Сын старался не встречаться с ним. Софья была мягка и спокойна, но Эдуард Аркадьевич видел, что приближается час решительного разговора. И он старался меньше бывать дома. Благо, что осень была светла и приветлива, а город волновал, и воспоминанья хлынули на него ливнями. Он бродил по старым улочкам, часто в слезах, и прохожие участливо останавливали его. Он осознал, что ищет Ляльку, как ребёнок в ночи ищет грудь матери — единственный источник его жизни. Иногда он заходил к Дубу, и они отправлялись по редакциям в надежде на гонорар. Нигде не платили, но везде обещали, поили чаем, говорили о Чечне, о Югославии и новом правительстве. Эдуард Аркадьевич открыл для себя, что эти редакционные чаи — единственное, чем питается его друг.

— Скоро должна явиться Бертолетка, — сказал однажды Дуб. — Она долго не задерживается.

— Это что — твоя любимая женщина?

— Почти... Последняя, я бы сказал.

Эдуард Аркадьевич уже чувствовал, что не нужен в доме Софьи. Ему ещё никто ничего не сказал, но он уже понимал, что не сроднится с ними и не сживётся. Так было всегда! Он уходил из дома перед приходом семьи, а когда возвращался, то старался сразу лечь. Он даже боялся лишний раз пройти по этому скользкому паркету. Ему казалось, что он вот-вот поскользнётся и что-то разобьёт. Однажды он видел, как Софья тайком совала деньги внуку. У него не оставалось сомнений, что она знает всё о внуке.

Невестка преследовала его. Особенно после того, как Эдуард Аркадьевич имел неосторожность высказать своё мнение по поводу избения Боба. Внук действовал странно и энергично. Он подал в суд, постоянно перезванивался со следователями и адвокатами, назначал цену, всякий раз повышая её.

Бабки, баксы, доллары — самые частые и значительные слова на языке Боба.

И Эдуард Аркадьевич посмел! Что было... Ему указали его место... Оно было за дверью этой квартиры.

Оставшись утром один, Эдуард Аркадьевич ещё раз обошёл всю квартиру. Большую, забитую мебелью, чужую... “Это несправедливо, — грустно подумал он, — здесь часть родительского дома тоже... Буфет — и тот родительский”. Он заглянул в комнаты сына. Ворсистые ковры вычищены, большие китайские вазы матово поблёскивают на полу. Эдуард Аркадьевич прошёл в другую комнату и не без злорадства заметил, что постели две. Супруги спят в разных комнатах. По брюкам и пиджаку он определил, что меньшая — комната сына. На стене — портрет Корбюзе. Да он и сам когда-то увлекался Корбюзе. И, конечно, Эйнштейн. От умиления защипало в глазах. Знакомая шкатулка стояла на полке. Поколебавшись, он потянулся за ней. Внизу стояла китайская ваза. Опираясь на неё, он пошатнулся, ухватился за полку и та вдруг оборвалась на вазу. Раздался грохот. Эдуард Аркадьевич упал, ухватив обломок вазы. Когда он встал, то увидел на полу удручающую картину. Ваза разлетелась вдребезги. Книги валялись грудой, пересыпанные долларами из шкатулки, у которой отлетела крышка. Эдуард Аркадьевич нагнулся и взял одну столонларовую бумажку. Потом пошёл

в прихожую, нашёл свой плащ и берет. Потом вспомнил, вернулся за остатками скопленных от сына и внука рублей. Положил на их место ключ и, облегчённо вздохнув, закрыл дверь.

Дуб долго смотрел на стодолларовую бумажку.

— Так это и есть сволочь вонючая. — Он понохал её и добавил: — Хуже китайцев.

— Мы соберём тебе юбилей, — радостно подсказал Эдуард Аркадьевич. Дуб встал.

— Теперь уж Бертолетка точно явится. У нее нюх на деньги и застолья.

— Как ты думаешь, нам хватит?

— Ну-у! Надо Октября будет позвать.

— А-а! Разбежался твой Октябрь сюда ходить...

* * *

У Дуба жилось свободно. И спокойно. Днём Эдуард Аркадьевич обходил магазины, выискивая, где подешевле, и заранее примеряясь к юбилейным покупкам. Потом готовил обед, и Дуб обедал.

— Ты где раньше был, Эдичка? — удивлялся Дуб. — Как бы мы хорошо с тобой жили! Может, я бы не всё прошил...

— Я тоже всё прошил. У Маргоши...

— У Маргоши не жалко. К весне продам квартиру и уеду с тобой к Ивану. Нам троим до самой смерти этой квартиры хватит.

Портили жизнь только соседи. Особенно одинокая Галя снизу. Её крик доставал до костей. То ей не нравилось, что они шумели. То Эдуард Аркадьевич повесил выстиранную им куртку, и капли стекали на её вылизанный до блеска балкон. Однажды он уснул и сжёг пустую кастрюлю на кухне, в которую собирался и забыл налить воды. Соседка вызвала милицию. Двое молодых ОМОНовцев, войдя в квартиру, потребовали документы. Дуб взревел.

— Я нахожусь в своём доме. Я никого не убил, не ограбил. Я что, не имею права испортить свою собственную кастрюлю!

Эдуард Аркадьевич пошёл на кухню и показал кастрюлю.

— А вы кто?!

— Я, собственно...

— Гость! — не унимался Дуб. — Я имею право на гостя и эту кастрюлю?!.. Сука! — сказал он о соседке, когда ОМОН ушёл. — Есть же такие бабы на свете! Ну их... таких... Лучше уж моя пьяница Бертолетка.

Бертолетка явилась этим же вечером. Дуб, как всегда, лежал на своей сетке, на которую бросили полосатый матрац. Эдуард Аркадьевич сидел в углу на полу, на облезлой меховушке, которая ночью в этом же углу служила ему постелью. Он читал Пастернака, время от времени вслух. Дуб, закинув руки за голову, молчал и только глядел в одну точку.

— Мы с тобой заведём корову, — сказал он вдруг. — Твоему Ивану понравится корова, как ты думаешь?

— Не знаю. Он хотел завести козу.

— Ну, чо там коза?! Корову!

Входная дверь чуть скрипнула, и Эдуард Аркадьевич увидел женщину. Она как-то странно проскальзывала как бы сквозь дверь, напирая её на себя. Потом постояла тихо в прихожей.

Дуб не мог видеть её, но весь напрягся и сказал Эдуарду Аркадьевичу:

— Явилась — не запылиться! Я вас приветствую, мадам!

Женщина в тёмной прихожей коротко, по-девичьи хихикнула и вышла на свет. Она была худа и молодилась, но Эдуард Аркадьевич без труда определил в ней свою ровесницу.

— Хелло, мальчики!

Присутствие незнакомого мужчины, видимо, не смутило её. Она привыкла ко всему в этой квартире.

— Но... Явление, — не вставая сказал Дуб. — Эдя, разрешите представить вам... мадам Бертольд... в престолярдые Бертолетка. Мадам, поприветствуйте нас!

Женщина и вправду присела перед Эдуардом Аркадьевичем, и тот вскочил, суетливо обшаривая ворот рубашки. Она поднесла ему маленькую прокопченную ладошку, пахнущую папиросным дешёвым табаком.

— Вероника, — произнесла она.

— Верка, — пояснил Дуб, — золотая ручка. Ну-с, как вы прожили, мадам, на мои пятьдесят рублей?! Вы, конечно, разжились... брильянты покупали, в ресторанах кушали! А-а! Что-то долго мы не имели счастья вас лицезреть.

Бертолетка глубоко вздохнула, скинула на пол плащик и крутанувшись, помахала ему ручкой.

— Володя! — сладенько произнесла она. — Ну, не ревнуй! — Она села к нему в ноги и, взяв с полу пачку сигарет, закурила.

Эдуард Аркадьевич разглядывал её с интересом. Невысокая, худая. Крошечные, какие-то бескостные ноги, которые она сложила одна на другую, покачивались. В фигуре ещё сохранялись остатки молодости, но пёстрая головёнка с пегими от седины волосами и пожившее, мягкое, синее от алкоголя лицо выдавали и возраст, и образ жизни своей хозяйки. Эдуард Аркадьевич глядел на неё и волновался. Он ещё не понял, что взволновало его.

— Молодой человек, — обернулась она к нему, — может, предложите мне чаю...

— Ну, молодой, давай жеребчиком на кухню, — добавил Дуб, — а я тут побеседую с дамой.

Эдуард Аркадьевич как-то странно потоптался на месте и пошёл на кухню. Он поставил чайник и поискал глазами между рамами: чем бы угостить гостью. Кашу от ужина он не решался подать, и сделал бутерброд. Хорошо, что он раскошелился сегодня на колбасу.

Кухня у Дуба была так же пуста, как и квартира. Кроме электроплиты, — это было удивительно, что она осталась, — в углу была свалена какая-то посуденка и стоял стол на трёх ногах, оттого, видимо, не пропитый, и самодельная табуретка. Чёрная от копоти лампочка под чернополосным потолком тускло освещала облысевший линолеум и редких, унылых от недоедания тараканов. Эдуард Аркадьевич очень тщательно сделал бутерброд и, заварив чаю, выбрал самый красивый, по его мнению, стакан, вытер его о штаны, налил чаю и понёс.

— О, хорошо живёте, мальчики! — Бертолетка мигом умяла хлеб и колбасу.

— Что надо сказать, милочка? — заметил Дуб.

— Ещё!

Бертолетка вошла в дом органично, словно никуда не выходила. С нею стало легче и веселее. Она всё делала быстро, легко, даже с некоторым артистизмом.

— Я готовила когда-то, как в лучших домах Филадельфии, — говорила она, подавая им утром на стол пережаренный на растительном масле хлеб.

— Бертолетка, где заначка? — Дуб не обращал внимания на её дешёвые афоризмы, но на Эдуарда Аркадьевича они производили впечатление. — Ну, ты знаешь, там всего и было-то пять грамм, — Бертолетка скрылась в ванную.

— Выгоню! Падла, переломая твои змеиные ноги!

— За мои ножки стрелялись! — парировала Бертолетка. Она выходила к столу, когда Дуб остывал, и оба они глядели на Эдуарда Аркадьевича.

— Юбилей, — мотал головою тот. — Не дам. Хватит.

— Мальчики! Я вам устрою такой юбилей. Такой праздник, пальчики оближете! Когда за мной ухаживал нынешний губернатор...

— Ты слушай, слушай, Эдя! За нами губернатор ухаживал. Мы на балу с превосходительством танцевали... Как у Достоевского — в шали...

— Ну, зачем же в шали, Володя! — Бертолетка болтала ногою, курила. Сухой и жёсткий волос хохлом торчал на её иссохшей головёнке. Испитое лицо кривилось в усмешке, как ей казалось, тонкой. — Я была в шляпке.

— Эдя, в шляпке. Моя любимая женщина танцевала в шляпке. Моя третья... нет, вторая... или четвёртая, Эдя. Бертолетка, какая ты у меня?..

— Пятая, Дуб.

— Да, спасибо, ты настоящий друг! Да-к вот, моя пятая жена носила шляпки. Их было море в этой квартире... Во всех углах...

— Это невежливо! — Бертолетка надула губы.

— Видал, Эдя! Ты думаешь, это тебе просто бичиха... Нет, друг мой. Мы институты кончали. Какой мы кончали институт, Берточка?!

— Да нархоз.

— Народное хозяйство нас учили поднимать. Подняли?

— А как же!..

Деньги, однако, таяли. Пять грамм, о которых твердила Бертолетка, превращались в ежедневную бутылку. Бертолетка умела вытягивать деньги. Эдуард Аркадьевич изо всех сил держался, чтобы не тронуть заветные доллары до времени. Он вдруг стал расчётливым и ночами всё считал, сколько да чего.

За три дня до дня рождения они пошли менять бумажку. Вела Бертолетка. Она точно знала, где самый выгодный для них курс обмена. Самое интересное, что деньги действительно выдали. Целых две с половиной тысячи. Им показалось, что они сказочно богаты.

— Надо бы редакторов позвать, — сказал Дуб. — Варвару из художественного... Эх, жаль сельский отдел — кто умер, кто разбегался.

— Октября позовём, Октября...

Бертолетка прыгала рядом в куценьком плащике, из отворота которого торчал помятый свитерок. И то спекая до старушечьего, то вдруг омолаживая лицо, твердила, как школьница урок:

— Пять грамм, пять грамм, мальчики, пять грамм.

— Эдя, дай мне полсотни, — попросил Дуб.

— Не дам, — твёрдо сказал Эдуард Аркадьевич.

— Дай, вопрос жизни и смерти.

Эдуард Аркадьевич, поколебавшись, выдал ему пятидесятку.

— Сидите здесь, — Дуб исчез и через пятнадцать минут вернулся с тремя розами.

— Прошу принять, мадам.

Бертолетка каким-то невыразительным, неожиданным для неё жестом, имитирующим изящество, взяла цветы, по-женски поднесла их к лицу.

— Во-ло-дя!

— Бертолетка, я на тебе женюсь!

— Это что — предложение? — кокетливо улыбнулась Бертолетка.

— Почти!

Эдуард Аркадьевич увидел молодой блеск в крыжовниковых глазах женщины. Какая странная смесь детской порывистости, старушечьей суетливости, лживости и искренности в ней. Она как бы остановилась в юности своей и постарела, не прожив положенной зрелой жизни.

— У неё дети есть? — спросил он дорогою у Дуба.

— У неё всё есть, Эдичка! И муж где-то... был. И дети... трое... И, кстати, порядочные все... Двое в милиции. Дочь замужем. Она многовнучатая бабушка! Да-да! Такие уж пошли бабушки в России. Наши с тобою, Эдичка, шестидесятнички. Ты ведь их любишь, комиссарочки в синих шлемах, так вот, они постарели...

На другой день Эдуард Аркадьевич пошел приглашать Октября на юбилей Дуба. На этот раз его не пустили в офис, и он ждал его у ворот два часа. Охрана смотрела на него подозрительно и всё переговаривалась в свои трубки. Он сидел на большом камне у шлакоблочной стены, дремал вполглаза под нежным октябрьским солнцем, временами встряхиваясь и запахивая ворот своего засаленного старого плаща. Берет его, как марля, сквозил на солнце и лежал на лошадиной его голове блинчиком. Дрёма забирала его глубоко и сладко. Он видел в медовой её смуте и Ляльку, и Бертолетку, и они как-то переходили в друг друга, как это бывает в снах, и он заволновался и во сне понял, что они похожи и что Лялька могла бы быть такой же сей-час. И в ней была эта смесь детства и порока, беспамятства и лжи. От этой мысли он начал просыпаться и услышал гуд машины. Гудел Октябрь, сидя

в своей машине. Эдуард Аркадьевич вскочил и, сорвав берет, подлетел к машине.

— В чём проблема? — деловито спросил Октябрь, держась за руль. Он был в чёрном длинном пальто, с белым шарфом. Костистый его череп уже изрядно облысел, и белый пух обнёс его неуёмную голову.

— Октябрь, — Эдуард Аркадьевич низко наклонился над стеклом машины, мял берет в руках. — У Дуба юбилей 28-го... 60 лет... Октябрь, придёшь?

Октябрь открыл бардачок лимузина, вынул записную книжку. Блеснуло корейской надписью ярко-красное под лаком.

— Какого, ты говоришь?

— Октябрь, ты читаешь по-корейски? — Эдуард Аркадьевич обратил внимание на надписи в машине и там, в офисе, — всё по-корейски.

— А как же? — Октябрь деловито записывал в блокнот дату. — Будущее за ними, Эдик. Они должны прийти сюда. Сюда. Эта земля будет завоевана азиатами — корейцами, японцами, китайцами. Они деловые, энергичные, работать умеют, покладистые. Это вялое население, — он высунул руку через окно машины и обвёл ею улицу, — оно само скоро вымрет. А придут настоящие хозяева.

— А как же вера? Октябрь, ты же православный!

— Вера! Какая вера?! Кстати, ты не дал мне адреса Дуба. Я сам, наверное, не смогу, но пришло телеграмму. Правительственную. Ему будет подарок.

— Лучше сам, Октябрь. Лучше сам. Уж как будем ждать...

— Я попытаюсь. Попытаюсь. Вера, мой друг, всякая хороша. Их вера не хуже. А впрочем, китайцы будут лучше в Православии, чем русские. Они воспитанные, дисциплинированные, работоспособные. Русские никуда не годятся. Они должны исчезнуть.

— У меня мать русская!

— Сочувствую, старина.

Лимузин тут же тронулся и мягко отошёл, глубоко сверкая крылами.

Возвращаясь, Эдуард Аркадьевич заметил, как белеет почтовый ящик в подъезде у Дуба. Он был, конечно, без замка. На конверте обратный адрес — ИГТРК. Телевидение. Дуб вскрывал конверт с волнением. Бертолетка, привстав на цыпочки, ходила вокруг.

— Дорогой Владимир Иванович! — прочитал Дуб. — Вы поняли, кто это — Владимир Иванович?! Между прочим, это я. Мадам, вы всё поняли?!

— Да поняла, поняла! Читай.

В письме Дуба поздравляли с его юбилеем и приглашали на сорокалетний юбилей Иркутского телевидения. Дуб пришёл в восторг:

— Вы слышали, вы видели... Ещё помнят Дуба. “Вы стояли у истоков телевизионного дела”. Да, я стоял, между прочим... начинал... Я... Эдик, ты же помнишь?

— А как же!

— По этому поводу нужно выпить по пять грамм чая, — взвывла Бертолетка. Два последующих дня были блаженными днями покупок. Эдуард Аркадьевич и сам не ожидал, что хождение по магазинам, выбор продуктов и даже сама весомость всех этих пакетов и свёртков доставит ему почти наслаждение. Всё это он делал для Дуба, друга своего. Он дарит другу юбилей. Бертолетка принимала в заготовлении продукции самое живейшее участие. Она не отставала от него ни на шаг.

— Ты куда поёр?.. Там колбасе пятнадцать лет. Они её каждый день холодной водой промывают, палки эти вытирают и на витрину! Пойдём, мы купим свеженькой колбаски, только что... и за сходную цену...

Эдуард Аркадьевич удивлялся её познаниям, покорно шёл за нею и брал ту колбасу и ту буженину и сыр, которые она указывала. И какие-то пакеты, банки, баночки с приправами. Она сама выбирала мясо для жаркого и вина, обнаружив в выборе цвета и этикеток такие тонкие познания, каких у него не было в лучшие запойные годы его жизни. Дуб почти не принимал участия в подготовке собственного юбилея. Он днями сидел на своей постели,

свесив на пол чистые ноги, мыл их по три раза в день. Когда-то он был очень чистолюбив и хорошо готовил, и сам знал толк в цвете вина и свежести мяса, но сейчас, перед своим шестидесятилетием, он вдруг разом постарел, был помят и только в редкой живости разговора и глаз можно было узнать того Дуба, с которым они когда-то в ночных переулках Иркутска вдохновенно декламировали Пастернака с Мандельштамом.

— Гарика бы, — вздохнул он как-то раз. — Хоть бы повидать его перед смертью...

* * *

Эдуард Аркадьевич обнаружил, что, кроме толстого свитера, в котором он иногда выходит на улицу, у Дуба ничего нет. Пересчитав деньги, Эдуард Аркадьевич вздохнул: как он ни жался, а от недавнего богатства оставалось мало. На куртку с рубашкой и кое-какие припасы явно не хватало. Мысль о том, что Дуб будет сидеть в этом свитере за юбилейным столом, смазывала всё ожидаемое счастье праздника.

На другое утро он отправился к Марго. “Пусть хоть немного даст, — думал он... — Ободрала, как липку...”

Офис Марго находился в бывшей квартире Эдуарда Аркадьевича. На двери комнаты, где он когда-то спал, висит табличка “Генеральный директор Маргарита Либерзон”. Секретарши на месте не было, и Эдуард Аркадьевич вошёл в кабинет.

За большим офисным столом сидела старая еврейка, расплывшаяся и подслеповатая. Она подняла на него холодные глаза, и Эдуард Аркадьевич подумал, что он не туда попал. Он засуетился, поворачивая назад, и услышал резкий, гортанный, с картавинкой голос Марго.

— Вам чего, гражданин? Что вы хотели?

— Марго!

— Да... Эдуард!

Он подошёл к ней. В отличие от Софьи, Марго постарела некрасиво. Лупковатые глаза совсем вылезли из орбит. Верхняя губа уплотнилась, как подошва. Добавок жёсткие чёрные усики над губою стали густыми, как у доброго мужика. В её одежде обозначилась скупость и старость. Тело вылезало из неё, как квашня. Как ни странно, она сделала ему глазки, сохранив когда-то милые привычки молодости.

— Эдик, ты? — промурлыкала она. Потом, вдруг ожесточившись всем своим некрасивым лицом, строго спросила: — Как там моя дача?!

— Я, собственно, поэтому и приехал... Марго... — он лепетал долго и невразумительно. Она слушала, выкатывая и закатывая бесцветные пупки своих тяжёлых глаз, и, наконец, холодно спросила:

— Тебе что, денег надо?!

— Да, — осмелел он. — Марго, ты ведь мне не заплатила. Ведь это моя квартира!

— Зяма, ты слышал? — Из бывшей кухни открылась дверь, и Зяма-Зиновий, маленький, со впалой грудью и большим носом, бочком прошёл по комнате к столу.

— Здравствуй, Эдя, — сказал он.

— Ты слышал этот бред, который он здесь несёт!

— Марго!

— Что Марго?! Что Марго?! А то, что десять лет он живёт в моём доме? С мебелью... с огородом — это чего-нибудь стоит?! Какая наглость... Десять лет живёт в моём доме, и за это ему плати...

— Я... я... — Эдуард Аркадьевич вспыхнул. — Да я сторожу твой дом! Да кто в нём жить будет?!

— Я всё, всё оплатила тебе, — нервно крикнула Марго, нос у неё покраснел, глаза раскатылись по жирному лицу, как колёса... — Боже мой! Боже мой... Ты хоть знаешь, какие у меня расходы! А наше будущее... Иерусалим... — она перешла на шёпот и всхлипнула.

— Марго... Но ведь квартира... Здесь... это же дорого.

— Нет, всё! Хватит! Всеми есть терпение! Какая неблагодарность! Почему я должна это терпеть... Друзья — нечего сказать! Не смей больше появляться мне на глаза! Никогда! Ты слышишь, никогда! Иначе у нас будут другие разговоры... Ты пожалеешь... обо всём. — Лицо её искажилось от ненависти. — Я возьму с тебя за все десять лет аренды. Да... Ты забыл, у меня есть договор об аренде... Я купила за твою квартиру. Докажи, что она не оплачена...

Эдуард Аркадьевич повернулся и пошёл к двери. Крик Марго ещё был слышен на лестнице. На улице его догнал Зяма.

— Эдя... Эдя... Ты на неё не сердись, — сказал он, отдышавшись... — Сам, понимаешь, фирма. Она не жадная. Мы собираемся... в Израиль... Представляешь, какие расходы! Поэтому она и экономит... На, вот тебе... Мы понимаем, — он протянул ему две стодолларовые бумажки... — Пока... Больше не можем. Ты не сердись на неё.

— Чего вам там делать, в Израиле! — холодно ответил Эдуард Аркадьевич. — Там таких, как Марго!.. Вам там не пробиться.

— Эдик! — изумлённо открыл рот Зяма. — Ты стал антисемитом!

* * *

На Шанхайку Эдуард Аркадьевич пошёл один. Он долго выспрашивал у Бертолетки, как попасть на этот китайский базарчик, и та, чуя новые деньги, всячески пыталась навязаться с ним, но Эдуард Аркадьевич проявил странную, несвойственную ему волю. Ему уже надоели её “пять грамм”. И потом, её вкус он не считал строго безупречным, а зная её назойливость, он опасался, что купит аляповато-дешёвую вещь по её указке.

Шанхайка сразу ослепила его. Он, недавно прибывший из Егоркино, ещё не ходивший по вещевым магазинам, напрочь забыл, что такое изобилие товаров. А тут сами ворота были увешаны коврами. На каждом метре земли и воздуха всё было усыпано и утыкано вещами, всё блестело, дразнило, переливалось. Он от растерянности едва не оставил свои доллары сразу у ворот. Но всё же решил обойти её всю. А пока ходил по рядам, в толчее, суете, крике, он так быстро устал, что решил отдышаться в углу. Но и углы были заняты торгующими. Он присел на деревянный ящик подле старой цыганки, торговавшей шляпами, и смотрел на базар. Эдуард Аркадьевич отметил, что торговали, в основном, китайцы, кавказские лица и цыгане. Русские только ходили между рядами, расстроенные и угнетённые. Иногда он, правда, замечал уверенных и хватких, но, приглядевшись, узнавал знакомые семитские черты в лицах этих людей. “Выучил меня Ванька”, — грустно усмехнулся он. Эдуард Аркадьевич прикрыл глаза, вспомнил Егоркино, увидел его внутренними очами — маленькое село в тайге. Какой пронзительный сейчас там день и небо... И что делает там Ванька? Сердце у него защемило, застучало, и он с трудом размежил веки. Вздохнув, встал. Он решил купить Дубу чёрную строгую рубашку. Тот любил носить их в молодости. Одну такую он уже присмотрел у китайца в другом углу базара. Кроме того, приценившись, он решил купить другу простенькую куртку из китайской кожи. Покупки он уложил в китайскую же розовато-жёлтую сумку, купленную здесь же, и медленно стал продвигаться между рядами. Толчая народу ещё больше загустела. Его без конца толкали, и приходилось идти бочком. Он прошёл ряд, потом другой и третий, а выхода к воротам всё не было. Наконец, наткнулся на китайца, у которого купил куртку, и понял, что кружит по базару. Нужно было выйти из рядов и передохнуть где-нибудь в углу. Он заметил недалеко забор и, не теряя его из виду, поплыл по текшему лабиринту к нему, как к берегу. Проход между последним рядом и забором был действительно свободен, и Эдуард Аркадьевич, посидев на каком-то ящике, пошёл по этой блаженной пустоте, надеясь в итоге выйти к воротам. В другом углу, к которому он направлялся, сидели, видимо, отдыхая, какие-то бабы, значит, там тоже есть проход! Он шёл не торопясь, помахивая сумкой, и совсем неподалёку от женщин услышал окрик:

— Побэрэгись!

Эдуард Аркадьевич шёл как шёл, но вдруг какая-то сила больно сшибла его, и он оказался в руках у бабы, сидевшей с краю на ящиках. Она успела вскочить и ухватить его.

— Ты посмотри, что они делают! Что делают, — заорала она. — Сволота-то где поганая! Урки грёбаные, убили деда!

Эдуарда Аркадьевича словно обварило кипятком. Этот голос он узнал бы из тысячи. Этот голос он слышал многие-многие годы. Резкий, грудной, с какой-то особенной тонкой нотой — это был её голос! Он поглядел вниз. Его держала в руках низкая, тяжёлая старуха с расплывшимся, огрубевшим лицом. Седые, наполовину крашенные, как у старух, в рыжину пряди вылетали у неё из-под платка. В аляповато раскрашенных губах торчала папироса.

— Чо, дед, жив?.. Чо молчишь-то?!

Бабы, сидевшие рядом, зашевелились, зашумели, заматерились вслед проехавшей тележке с грузом, которой управлял пожилой кавказец в громадной кепке.

— Они хозяйева здесь.

— За людей нас не считают!

— Всех скоро передавят. Купили весь белый свет!

— Ну, чо молчишь-то, дед?! Чо уставился! Бабы, гляньте, он чего?! — она повернула его к бабам. — Страхнулся совсем!..

— Страхнёшься! Чо сидим-то, автобус уходит!

Все они повскакивали, собирая свои сумки и баулы, а она, встряхнув его за плечи, глянула своими братсковатыми глазами и знакомо сказала:

— Ну, скажи хоть слово-то. Голос подай, — и, облизнув верхнюю губу, отпустила его плечи и отерла тылы своих ладоней о бока. Эдуард Аркадьевич услышал, как бьётся его сердце в горловине. “Умираю, — мелькнуло у него. — Душа выходит”.

— Смотри, какой белый. От голода, наверно. Дай ему хоть хлеба. Колбаса-то осталась. Дай ему. Вот суки, что с народом сделали!

— Лялька! Ну, чего ты там! Опоздаем! Автобус вон.

— Ладно, дед, мне некогда. На вот тебе, — она сунула ему в карман плаща булку хлеба с куском колбасы и, подхватив громадный баул, побежала вслед за товарами.

Эдуард Аркадьевич пытался что-то сказать либо крикнуть, но что-то билось у него в горле, не пропускало звуков. Он замахал руками, как рыба без воды, глотая воздух, но женщины, а вместе с ними и она, скрылись в этих плотных рядах. Он, обхватив горло руками, повалился на ящик. Поднять его уже было некому...

* * *

Вечером он вернулся к Дубу. К тому времени к нему вернулось сознание, и он, наконец, понял, что Лялька жива. И жила все эти годы в Иркутске, без него в сердце. Иначе бы она узнала его. Он был измучен и опустошён. Уже поднимаясь по лестнице, он услышал крик Бертолетки и странный крик, почти лай, соседки. На лестничной площадке женщины, вцепившись друг в друга, теснились в углу, издавая странные звуки. “Дерутся”, — с ужасом подумал Эдуард Аркадьевич. Дуб время от времени нервно выскакивал из квартиры и орал:

— Идиотки! Разве вы женщины?! Бертолетка, прекрати сейчас же!

Но Бертолетка, деловито действуя локтями, нанесла последний удар и, увидев Эдуарда Аркадьевича, отпустила соперницу. Разъярённая соседка догнала Бертолетку и вцепилась ей сзади в волосы. Бертолетка вырвалась. Клок рыжих волос остался в руках у соседки.

— Ну, подожди, стерва! — пообещала ей Бертолетка. — Я тебе устрою. Ты у меня побегаешь с ремонтом.

— Дура! — кричал на неё Дуб. — Сейчас милиция припрётся!..

Бертолетка, глянув в лицо Эдуарда Аркадьевича, тихо спросила:

— Что, потерял деньги? Я знала, что ты их потеряешь, и ты их потерял! Вот чо ты меня не взял с собою?!

Эдуард Аркадьевич глянул в окно на рябину, рясную, с алыми кистями ягод. Крупную, как зрелая женщина в нежном сиянии последнего солнца, и она показалась ему исполненной неотразимой поэзии. Потом он увидел помятую Бертолетку со включенной головою, и она стала ему родною. Он хотел сказать Дубу: “Видел Ляльку”. Открыл рот и сказал:

— Дуб, я зря прожил жизнь, — и заплакал. Дуб и Бертолетка стояли над ним, изумлённо открыв рты, а он плакал, как обманутый ребёнок, беззащитно, тихо, утирая слёзы рукавом плаща.

— Эдя, ты чо, Эдя, — Дуб растерянно затоптался над ним. — Ты из-за денег?! Ты что, хотел мне подарок купить?

Эдуард Аркадьевич всхлипнул.

— Да глупости всё это. Мне ничего, кроме тебя, не надо. Да спасибо тебе, что ты вот так! Ну, хочешь я сейчас всё выброшу... все эти... глупости... И мы с куском хлеба будем песни петь и будем...

Он было уже кинулся к окну с продуктами, как в квартиру вошёл ОМОН. Двое молодых парней потребовали предъявить документы.

— Вы же у меня спрашивали недавно, — сказал Дуб. — Я вас помню...

— Мы не видели ваших документов. Их нам не показали.

— А по какому, собственно, праву!

Соседка Галя выглядывала из-под плеча ОМОНовца.

— По такому! Бичарню тут развели!

— Ребята, вы разберитесь по существу. На чьей площадке она дралась? Вот на этой. Я в её квартире ни разу не был. Почему она без конца ко мне лезет? Может, у неё какие-то сексуальные домогания. Может, она извращенка. Вы разберитесь, чего она ко мне пристаёт?! — Дуб говорил на удивление спокойно, всё время оглядываясь на Эдуарда Аркадьевича.

Бертолетка вдруг тоже обрела дар речи, сбегала в малую комнату и принесла поздравление с телевидения.

— Вот, читайте, какой он человек! Вот... Да как она смеет! Кобыла драния! Деньги какие-то требует.

— Какие деньги? — спросил милиционер, читая бумагу.

— Деньги мы собираем на железную дверь в подъезд. Чтобы бичи и наркоманы не шлялись, — объяснила соседка, — а он не даёт.

— Это дело добровольное, — ответил парень, — это нас не касается. — Он отдал письмо с конвертом Дубу и повернулся назад.

— Как! Вы опять их оставите? — взвизгнула Галя.

— А что мы должны делать?! Они в своём доме. Трезвые... Никому не мешают.

— Ещё один вызов — и примем меры, — на всякий случай предупредил другой, и оба вышли.

— Вот курва! Ну, я ей и устрою. Она недавно ремонт сделала. Я ей устрою весёлую жизнь, — заявила Бертолетка.

Эдуард Аркадьевич немного оправился, поднялся, пошёл в комнату и сел в свой угол. Он чувствовал себя старым, усталым и никому не нужным.

— Бертолетка, я на тебе женюсь, — заявил Дуб.

— Ага, все вы так говорите!

Ночью он проснулся, вернее, он даже не спал, а забылся. “Отчего она не узнала меня, — думал он. — Я, конечно, переменялся, но ведь я узнал её. Значит, она не любила меня. Просто она не любила меня. И не было никакого Николаева, а есть моя разбитая жизнь, одиночество и чужие углы. Найду её. Я обязательно найду её. Господи, я был счастлив с нею... Я был так счастлив с нею... Почему же она не любила меня?..”

* * *

“Исчезать она умела всегда”, — это первое, что подумал он, проснувшись утром. А потом он вспомнил, что Дубу сегодня шестьдесят лет.

Дуб стоял на кухне и глядел на рябину.

— Смотри, — сказал он с нежностью, — какая рябина!

Эдуард Аркадьевич посмотрел на сиротливо мокнущее внизу дерево и нашёл его сегодня некрасивым. Народился серенький осенний дождливый день.

— Дуб, я тебя поздравляю, — проникновенно сказал Эдуард Аркадьевич и нежно добавил: — Володя...

— Спасибо, друг.

Вдвоём с Бертолеткой они одели именинника в чёрную рубаху, расчесали ему волосы и подстригли бородку.

— Ну, всё, — сказал Дуб, глядя в зеркало, — теперь женюсь! Бертолетка, женюсь на тебе.

Бертолетка хихикнула из кухни. Она развела в ней бешеную деятельность. Посуда звенела и гремела, запахи становились дразнящими. Она надела на голову косынку и подвязалась фартучком, став какой-то домашней и почти хорошенькой. Эдуарда Аркадьевича отправили в булочную за хлебом, в молочный — за сметаной и в овощной — за луком. Всё это он купил на маленьком базарчике, как-то странно разглядывая лица продавщиц. Это были в основном лица молодых русских женщин. Они показались ему красивыми. “Как много красивых лиц!” — удивлялся он и вдруг открыл, что после встречи с Лялькой он начал смотреть на женщин. Просто затем, чтобы полюбоваться ими. “Интересно, подумал он, — если бы Лялька сохранилась лучше...” Он чувствовал, что она как-то отпадала от него. Поднимаясь по лестнице, он встретил соседку и впервые обратил на неё внимание. Галина показалась ему на удивление привлекательной. Высокая, полная, с миловидными, округло выщипанными бровями над круглыми глазами и с каким-то особенно кротким выражением лица. “Как же она могла вцепиться Бертолетке в волосы?” — удивился он. Эдуард Аркадьевич приостановился и тихо сказал:

— Добрый день, мадам!

Женщина дико взглянула на него и вспыхнула румянцем.

“Как это я не замечал её раньше?” — подумал он.

Дома уже ждали Октября. Бертолетка принесла от соседей напротив большой обеденный стол, и как ни странно, покрыла его не совсем белой, но скатертью.

— Цветов не хватает, — заметила она, деловито оглядывая стол. И Эдуард Аркадьевич вновь надевал плащ. Бертолетку мало интересовало, сколько денег у него в руках. А они стремительно исчезали. Одной бумажки из двух, выданных ему Зямой, уже не было. И он подался в знакомый уже обменный пункт. Кассирша, молодая крашенная девица, небрежно отсчитала ему деньги, и Эдуард Аркадьевич, глядя на её кровавые ногти, на длинные белые пальцы красивой, молодой руки, вновь подумал, что только после встречи с Лялькой он стал вновь смотреть на женщин. Потому что только с нею наполнялась жизнь, и интерес к жизни проявлялся у него только с нею. “Как жаль, что мы не прожили вместе только с нею. Как жаль”, — подумал он и, повернувшись, пошёл от кассы.

— Эй, дед! — крикнула кассирша, — а деньги?!

Он вернулся, сунул деньги в карман.

— Кто сейчас доллары продаёт? — насмешливо укорила она. — Сейчас доллары покупают и копят.

Старый швейцар, провожая Эдуарда Аркадьевича, провёл по привычке ладонью по лацканам его плаща и вздохнул:

— Годы наши с тобой. Сейчас деньги-то надо подальше прятать. В заглашник да под перину. А потом, внукам, внукам. А ты с ними, как кот с салом, и бегаешь, и бегаешь... Ну, скажи мне на ухо, ты их нигде не скоμμуниздил?! Ну, ну, ну! Я пошутил... Ступай! Съехала крыша-то у старика...

Стол был накрыт, и цветы — пунцовые розы — поставили в банку, которую предприимчивая Бертолетка обернула фольгой. Пока суть да дело, на будильнике у Дуба пробило три, а от Октября не было ни слуху, ни духу. Промаялись ещё час.

— Ну, сколько можно! — взвилась Бертолетка. — Где эти ваши депутаты?!

— Где эти наши депутаты?! — грустно повторил Дуб. — Там, где наша жизнь! А где наша с тобой жизнь, Эдичка? В заднице она — наша жизнь! С этого и начнём застолье!

Он сел за стол и широким жестом пригласил их.

— Ну, зачем ты так? У нас с тобой была хорошая жизнь, — возразил Эдуард Аркадьевич. — Нормальная... Ну, не хуже других... Мы умели дружить, любить... Ты четыре жены имел, как мусульманин!

— Да, и все они стоят здесь. Видишь — пришли поздравить меня... С юбилеем. Вот Анна, Галина... Это Ирка... Виолетта... Не видишь? И я не вижу... Начали, друзья, — он взял бутылку. — Эдичка, не слушай меня. Смотри: колбаса, сыр, рыба. Дама за столом. Мы боги, Эдичка! — Он разлил водку. — Мадам?!

— Я тоже водку! Ну, как стол, мальчики?

— Божественный!

— Володя, — Эдуард Аркадьевич поднялся с рюмкой в руках, — сегодня... ты родился... шестьдесят лет назад... Володя, я так рад... так счастлив, что мы дружили и дружим... Что мы встретили друг друга... — Он начал заикаясь, запутался, махнул рукой и сел.

— Спасибо, Эдя, спасибо, друг! Я тоже счастлив!

Закуска оказалась свежей, салаты были превосходны.

— Бертолетка! Женюсь! Видит бог, женюсь!

— А чо, я всё умею! Не такая уж я пропащая. Да если хочешь знать, за мной весь курс бегал.

— А губернатор танцевал, — закончил Дуб.

— А ты не веришь?!

— Ты знаешь, где я её подобрал? Она жила в картонном домике. Из ящиков из картона себе коробку соорудила и жила. Отапливалась вот этим делом, — он постучал вилкой по бутылке.

Бертолетка занервничала, сжала гранёный “хрусталь” в кулачке. Эдуард Аркадьевич смотрел на неё с умилением.

— “Хрусталь”-то наш не раздави! — внушительно сказал ей Дуб. — Да, я по пьянке её привёл к себе. А потом под машину попал. Веришь-нет, весь переломанный лежал.

— А я за тобой ухаживала!

— Слыхал! Она за мной ухаживала. Эта маленькая стервочка собрала оставшееся у меня шмотьё и исчезла в проёме вот этой двери.

— И ты лежал один? — с жалостью спросил Эдуард Аркадьевич.

— Как перст! — подтвердил Дуб и прослезился.

— О, если бы я знал!

— И вот что характерно, Эдя. Я всё пропил, а телевизор — никогда. Этот гад — я всё-таки настоящий оператор! — простоял в моей квартире один — заметь: я один и он один — очень долго. А потом я эту стерву ждал, пьяный. Дверь открыл... Манера у меня такая: когда жду, дверь открывать. Ну, и уперли у меня бичи... телевизор. Зашли, а здесь я и он... Ну, и... выпьем!

Хорошая водка катилась мягко. Бертолетка принесла тушёное мясо. На удивление вкусное. Ели молча, чинно.

— Как же Октябрь-то! — посетовал Эдуард Аркадьевич.

— Хрен с ним! Я знал, что он протреплется. Эдя, ты идеалист. Из нас ты всегда был лучший, но ты идеалист, Эдя. Ты всех идеализируешь. Типичный шестидесятник. Сейчас, Эдичка, я тебе покажу мой юбилей в идеале. Бертолетка, в стремя!

Бертолетка тут же вскочила, перебирая своими крутящимися ногами.

“Сколько же ей лет? — подумал Эдуард Аркадьевич. — Она совсем не осознаёт своего возраста”.

Дуб налил себе полстакана водки и выпил залпом.

— Значит, так. Ты, дура, подавай мне телеграммы. Первая, естественно, правительственная. “Дорогой Владимир Николаевич, — он взял из рук Бертолетки конверт с письмом телевидения, — правительство России от всей души поздравляет Вас с юбилеем. Вы внесли незаменимый вклад...”

— Нет, нескладно, — заметил Эдуард Аркадиевич, — надо так: “Ваш скромный труд”.

— А почему это он скромный? Обижает! Я снимал Хрущёва. Ты помнишь, в пятьдесят четвёртом, на съезде. Да, мой друг! А знаменитый поцелуй Брежнева с Наймушиным? Его перепечатали все газеты мира. Я тогда женился третьим браком и купил себе дублёрку. Эдя, ты помнишь мою дублёрку?

— А как же!

— Так что не такой уж скромный вклад. ГЭСы — все снимал... Братск... Перекрытие... Палатки... Шурочка Пахмутова... Все у меня хранится... Иркутская ГЭС... ЛЭПы... Стройки... Начинали с ребятами телевидение. Ну-ка, прочти мне телевизионное.

Эдуард Аркадиевич принял из его рук конверт, вынул письмо и прочёл.

— Хорошо! — сказал Дуб. — Очень хорошо! Как музыка.

“Как нужен сейчас Октябрь, — подумал Эдуард Аркадиевич, — хотя бы телеграмма! Эх, дурак, я дурак! Зачем я понадеялся на него? Нужно было самому дать телеграмму от его имени”.

— Давай выпьем за это, — с гордостью предложил Эдуард Аркадиевич, — за твою телевизионную деятельность. Ну, мадам, где там наш барашек под зеленью? Чем закусывать?!

Бертолетка рванула на кухню и принесла котлеты.

— Ну, как тут не жениться! Как честный человек, после таких котлет!

Бертолетка хихикала. Эдуард Аркадиевич заметил, что их дама опрокидывает рюмку гораздо чаще, чем они.

— Веди себя прилично! — сказал ей Дуб. — Котлеты — это ещё не всё. Что главное в семейной жизни?

— Любовь!

— О! Все бабы дуры! Ну-ка, Эдичка, выбери-ка нам из этого вороха телеграмм... Ты хорошо его видишь?

— Очень хорошо!

— Ну, так вот, выбери-ка нам телеграмму из Министерства культуры.

Эдуард Аркадиевич взял письмо и медленно начал:

— Дорогой Владимир Николаевич! Ваша высокая жизнь, исполненная деятельной энергии, высокой культуры и не менее высокого мастерства...

— Эдя, ты поэт! Эдя! Почему их нет — этих телеграмм?! Я ведь снимал большие поэтические вечера! Ты помнишь, Женья приезжал в Братск? Я три дня не спал. Я караулил его в гостинице. А Окуджаву я снимал спищим... Боже мой, у меня есть фотография Фурцевой... под этим домом... Какая была женщина! А Зыкина! Я её в Ленинграде снимал... Её буквально выносили из зала... А Политехнический, Эдя! Мы ведь были с тобой в Политехническом тогда, ты помнишь?

Эдуард Аркадиевич задохнулся от волнения. Как не помнить? Пик его жизни!

— Это теперь национальное достояние...

— А Бэллочка как была хороша! Этот детский голосок, и... Я снимал её отдельно. И был влюблён... слегка...

И пошло-поехало... Обоих как прорвало! Эдуард Аркадиевич забыл, где он и сколько ему лет, он летел душою высоко, сладко... Они забыли годы, и по-прежнему оба были молодые, вольные, как птицы... Они патаются по городу, ночь напролёт читают друг другу стихи, они в Политехническом, на поэтическом вечере, и на площади, на митингах протеста, и с диссидентами. Да, они не сидели сложа руки. Тоже боролись!

Вдохновение распалило Эдуарда Аркадиевича. Он хлопнул вслед за Дубом полстакана и сказал:

— Хватит телеграмм. Мы заслужили явлений. Слышишь — стучат! Ой, Боже мой. Дуб! Кто к нам пожаловал!

— Кто к нам пожаловал, Эдя?

— Разве ты не видишь — Исач! Сам! А что, ты помнишь? В девяносто первом ты тогда был в Москве и лез на танк. Снимал всю демократию, весь цвет России. И кричал: “Верните нам Солженицына!” Вот он, садитесь,

Александр Исаевич. Вот вам место рядом с именинником. Выпейте за него... А это кто... Боже, Боже... Дуба... Господин президент! Ты ведь бегал, собирал за него подписи... Так много сделал для демократии. Страна приветствует, чтит своих героев. Верных и скромных тружеников демократии. А это Егор Гайдар. И ты называл его интеллигентнейшим, первым интеллигентом в совковой России. А это мадам Боннэр...

— Нет, Эдя, хватит, — вдруг сказал Дуб. — Это уже слишком!

— Ну, почему, Дубок? Правительство должно знать своих истинных героев. Это капитал нации.

— Брось, Эдя! Ведь о нас будут судить не по тому, что мы там орали и чего не орали. А что мы оставили... Я оставлю альбомы. Негативы... Архив... Я снимал историю страны... людей. Я сейчас жалею, что увлекался великими. Мало снимал народную жизнь. Ты не помнишь у меня работы “Свидание по вечерам”? Я так и знал. Я помню, был в селе одном. Шёл и случайно увидел девушку. Она стояла у калитки и явно кого-то ждала. По лицу было видно, любимого. Я прошёл мимо, подождал за палисадом. Хорошо, у меня фотоаппарат был с собою. Вот и снял. До сих пор считаю, что это мой лучший снимок. А его никто не заметил. Жаль, что я мало снимал застоля, похороны, свадьбы. То, что раньше висело в каждом доме. Ты помнишь эти иконостасы из карточек?

— Ты художник! — с восторгом выпалил Эдуард Аркадиевич. — Большой художник. Если бы ты жил на Западе, тебя бы на руках носили. Во дворце бы жил, на золоте ел...

— О, о! Эдя, — Дуб махнул рукою, — Запад мёртв. Разве там есть застоля или похороны! Или можно встретить такое лицо, как у той ждущей девушки... Запад... революция, Окуджава, Солженицын... Как я верил во всё это когда-то.

— А я и сейчас верю. Дуб, я верю, что мы, шестидесятники, были носителями особой творческой идеи. Мы обновляли мир. Мы...

— Да, “нам целый мир — чужбина... Отечество нам — Царское Село...” Выпьём за наше Царское Село, Эдя. Мы с тобою хорошо жили.

— Хорошо, Дуб!

— Это не нынешний скотоприёмник. Базар этот... поганый рынок!

— Да, Володя, да! У тебя была хорошая, полная жизнь...

— Очень хорошая. Бертолетка, дай мне котлетку. А где она? Э, где вы, мадам!

Странная стояла тишина в квартире. Женщина не откликнулась.

— Слушай, а что это за вода? Откуда?

Квартира медленно наполнялась водою. Она хлопала, растекаясь по полу и уже была им по щиколотку.

— Ёшь твою в капусту! — Дуб рванулся из-за стола и пошлёпал почему-то к туалету. Тот был заперт на замок, и Дуб выскочил на площадку.

Бертолетка дралась с соседкой.

— Я тебе покажу ремонт, — кричала она зловеще. — Я тебе покажу бичарню! Мещанка! Ты наших ногтей не стоишь! Падла...

Соседка Галина, та высокая, полная, миловидная, которая спускалась ему навстречу по лестнице, светлая, как Мона Лиза, сейчас красная, как помидор, включенная и тяжёлая, молча рвала последние волосы на крошечной пегой головёнке Бертолетки.

Вверх по лестнице поднимался ОМОН — трое парней с автоматами наперевес.

* * *

Их вели двоих под дулами автоматов. Бертолетка отчаянно налетала на парней, оскорблённая тем, что её не взяли. Сырая октябрьская тьма уже заполнила улицы. Окна домов горели вечерними огнями. Дуб шёл энергично, весело, он даже махал рукою любопытным прохожим. Зычно выкрикнул:

— Да здравствует демократия. Свободу Никарагуа!

— Почему Никарагуа? — спросил его шёпотом Эдуард Аркадиевич.

— А что они — не люди? Им тоже нужна свобода. Смотри, Эдя, какой нам почёт! Какое внимание! Под дулами автоматов. Как банду чеченцев. Сподобился я на шестидесятилетие. А ты говоришь, что мы сейчас никому не нужны. Смотри, как они нас боятся. Свободу Намибии! — весело крикнул он.

— А нам, Дуб, нам тоже нужна свобода!

— На хрена она нам нужна? Пусть эти обезьяны свободно по деревьям прыгают. Нет, это царский подарок! Какой там Октябрь с вшивой его телеграммой! Свободу всем народам Африки!

В отделение их привели уже поздно. Сразу ввели в какую-то комнатку и закрыли на ключ.

— Всё! — сказал Дуб. — Праздник кончился. Ложись спать.

Они расположились на стульях и уснули. Ночью их разбудили. Долго вели по длинному узкому коридору, ввели в отделение, где расположен пульт.

— Эй, отпустите их, — услышали они голос Бертолетки. — Что они сделали! Она сама стерва. Она водкой торгует! Дуба... Эдик... мальчики.

Бертолетка прыгала возле окошечка в прихожей отделения и всё кричала дежурному на пульте, который отмахивался от неё, как от мухи. Ему без конца звонили. Он то и дело снимал трубку и коротко говорил: “Дежурный Октябрьского отделения”.

— Женюсь! — крикнул ей Дуб и приветливо поднял зажатый кулак.

Их подвели к столику в углу.

— Ну и чо, — сказал толстый майор, кинув на них беглый взгляд. Он что-то писал за столиком. — Зачем вы их привели?!

— Да уж третий раз балагурят. Соседи там жалуются. Документов нет.

— Документы, граждане! Кто такие?

— Мы граждане мира! — заявил Дуб.

“Здорово!” — подумал Эдуард Аркадиевич.

— О! — майор не поднял глаз, продолжая писать. — Документы. Видели мы и таких. Граждане ночи! Астахов, ты их сюда припёр?! У меня что — времени много?

— Виноват!

Майор кончил писать, выдвинул верхний ящик стола, достал зажигалку, закурил и, наконец, взглянул на них:

— Ну, как с опознанием личности?! Документы есть?

— Вот мои документы и моя личность, — Дуб нетрезвым жестом обвёл ладонью своё лицо.

Лампочки на пульте то и дело загорались. Дежурный записывал адрес и тут же передавал его по другой трубке. Вошли трое в форме и один в штатском. Лица их были усталыми.

— Что там? — спросил их майор.

— Наркота, — обыденным голосом ответил штатский и покрутил связкой ключей на пальцах.

— Убийство вроде, товарищ майор, — сказал вдруг дежурный, — труп на Баха.

— Ну, вот и езжайте.

— Дай хоть перекурить! Кофе кружку выпить. А где вторая?

— Вторая — в другом конце города. Давайте, шуруйте. Утром кофе пьют... Да заскочи там к Ангаре... проверь.

Майор глянул на Дуба и поскущел. Дотоле чудесно ожившее и помолодшее лицо его осело и состарилось.

— Ну, так чем вы подтвердите свои личности, граждане вселенной?

Дуб встал в позу:

— Жизнью!

Эдуард Аркадиевич нащупал в кармане плаща конверт, который ему предсудноительно сунула в карман Бертолетка.

— Видите ли, у него юбилей. Ему сегодня шестьдесят лет... Вот посмотрите, может, это вас устроит? — он положил на стол конверт.

Майор вздохнул, пробежал глазами по бумаге.

— Всё это, конечно, впечатляет. Но маловато. Кто может удостоверить вашу личность?

— Октябрь! — воскликнул Дуб.

— Месяц октябрь?!

— Нет, Октябрь Ефимович Шпак. Помощник Пэна.

— Какого Пэна?!

— Депутата нашего! Только удобно ли сейчас, — Эдуард Аркадиевич обратился к Дубу.

— Удобно, удобно! Ты чо, Октября не знаешь. Он никогда не спит, — Дуб нагнулся и написал на чистом листке бумаги номер телефона.

Майор подержал листок в руках, побарабанил по столу. Потом передал дежурному.

— Проверь.

Дежурный включил что-то, потом защёлкал клавишами.

— Всё верно, — сказал он потом и тут же взял трубку звонящего телефона. Майор набрал номер. Ему ответили сразу.

— Дубовников Владимир, — подсказал ему Дуб, — и Гольдберг Эдя.

Дежурный объяснял ситуацию по телефону, и слышны были рокошующие нотки Октября.

— Хорошо, хорошо... служба наша такая... Извините.

Майор положил трубку и закурил.

— Ну, гаврики, что мне с вами делать? Он вас не знает.

— Как... — Дуб охрип от потрясения. — Он так сказал? Вы не ослышались?! — он выматерился.

— Ну, ладно, дедушки! Мне некогда тут с вами возиться. СИЗО переполнено. Там вас прихлопнут, как мух. Давайте расписывайтесь под показаниями и дуйте, благодаря Бога! Выпиши им штраф, — кивнул он дежурному.

— Какой штраф! Какая наглость, — вскричал Дуб. — Нас взяли ни за что, ни про что, за юбилейным столом. На глазах у потрясённой публики под дулами автоматов. И теперь ещё за это заплати! Да ещё выкинут нас среди ночи...

— Слушай, старик... вшивый... — холодно сказал майор. — Я тебе сказал — ступай с Богом. У меня без тебя тут хватает забот. У меня третий труп за ночь, некогда с вами возиться. Вали... по холодку.

— Вали, — изумился Дуб. — Что значит вали? Я снимал Брежнева!

— Правда, правда, — крикнула в окошечко Бертолетка. — Он снимал Брежнева!

— Я Наймушина фотографировал... Я с Пахмутовой сидел на вечере... Я начинал телевидение...

— Да, да, — встрял, наконец, Эдуард Аркадиевич, нервно, как девица, одёргивая плащ. — Он начинал телевидение.

— Ашот! Выведи его! — крикнул майор со скукой в голосе.

Высокий кавказец подошёл к ним и, взяв за плечи, повёл к двери. Он вывел их в приёмную и легонько подтолкнул в спину.

— Не смей! — вскричал Дуб. — Нас вышвыривают, как собак. Мы боролись за демократию! Мы были с Солженицыным... Я никуда не пойду! Я требую, чтобы перед нами извинились. И увезли... доставили на место.

— Валы... Валы... Пока мы хорошие, — добродушно ответил кавказец и пошёл.

— Что? Ты, чурка! Ты смеешь меня в моём доме... Меня, который... который... Ты Яшка... ты чужеродная...

Кавказец повернул и двинулся на них. На него с визгом налетела Бертолетка, заколотила жёсткими кулачками по его груди. Кавказец смахнул её, как муху, ухватил друзей за шиворот и потащил к двери.

— Не смей! — хрипел Дуб. — Не смей, сволочь! Я гражданин своей страны... Я за демократию боролся...

Кавказец вывелок их за двери и, столкнув лбами, швырнул с крыльца. Дуб пролетел через ступени, протирая щекой асфальт. Эдуард Аркадиевич упал полетче, и Бертолетка воробушком скакала между ними, придыхая от отчаяния, и шёпотом повторяла:

— Ой, мальчики... Ой, мальчики... Сволочи! — громко крикнула она, оглянувшись, подняла камень и швырнула в захлопнутую дверь.

Дуба едва подняли с земли. Щека его была разодрана. Кровь лилась на чёрную рубаху. Они с трудом дотащили его до ближайшей лавочки. Он всё молчал и тяжело дышал. Стояла уже морозная глубокая ночь. Дуб дрожал. Холод доставал до костей и Эдуарда Аркадьевича. Одна Бертолетка, казалось, не мёрзла и всё грозила кулаком в сторону освещённых дверей.

— Какая хорошая была жизнь, Эдя, — вдруг сказал Дуб, — и как скверно кончается...

* * *

Уже в стылом осеннем утреннике они едва дотащили Дуба до дому. Квартира Дуба представляла собою печальное зрелище. Вода ещё стояла на полу, перекатываясь под ногами грязными лужами. Обеденный стол, который ещё вчера казался им высоким искусством, стал смрадным скопищем грязных объедков.

Дуба уложили на постель, прикрыли меховушками. Бертолетка жаждала мести и ринулась вниз к соседке. Но той либо не было дома, либо она просто не открыла дверь.

— Ну, ничо, падла... Доберусь я до тебя. Ты у меня почешешь отсюда... Птичкой полетишь, — пригрозила Бертолетка и, вернувшись, заявила: — Нет, это невозможно. Садись, пять грамм надо принять.

Она села за стол допивать бутылку, а Эдуард Аркадьевич, намотав тряпку на швабру, начал выгонять остатки воды на лестничную площадку и вниз. В квартире отключили отопление и свет. Холод пробрал к вечеру.

Дуб не поднимался, лежал на своей чёрной постели, изредка открывая глаза. Когда Эдуард Аркадьевич подходил к нему и всё спрашивал:

— Дуба-а! Вова... Может, тебе чего надо?..

Дуб вначале только слабо улыбался, а затем перестал реагировать вообще. Бертолетка пила, исчезала, появлялась вновь и опять пила. Кроме неё, в квартире появлялись и спали какие-то драные, опустившиеся, плохо одетые люди. Они входили в квартиру без стука, не спросясь, ели и спали, не замечая никого.

Эдуарду Аркадьевичу, который спал на полу у лежанки друга, пришлось на ночь класть свёртки с едой подле себя. Но бывало, что и тут они исчезали. На третий день он, спустившись вниз, позвонил в дверь соседки Галины, других он не знал, и, долго извиняясь, пугаясь и робея, сообщил о болезни друга и просил вызвать врача. Галина долго молчала, глядя на него. Потом сказала:

— Зайдите.

Он вошёл в квартиру.

— Вот, полюбуйтеся на плоды своих трудов.

И потолок, и новые обои в квартире были в разводах. По углам обои отвалились, и разбухшая штукатурка кусками валялась на полу и на мебели. Эдуард Аркадьевич покраснел, забормотал что-то извинительное и вышел из квартиры.

Тем не менее, врач пришёл. С порога оценив обстановку, он брезгливо присел на постель к Дубу, больше не было ничего и, оглядывая квартиру, слушал пульс больного, что-то шупал и слушал.

— Давно он без сознания? — спросил врач Эдуарда Аркадьевича.

— Разве?! — удивился тот. Он думал, что Дуб просто спит.

— В общем, так, — подвёл итог врач, — платить, как я понял, вам нечем. В больницу вас не возьмут. Да это, скорее всего, бесполезно. Попробуйте облегчить его состояние так...

Он что-то написал на своих листочках и добавил:

— Я выбрал самое дешёвое лекарство!

Эдуард Аркадьевич, боясь хоть на время покинуть друга, отдал рецепт и деньги Бертолетке.

— Не успеешь вышить пять грамм, как я обернусь, — уверила она.

Он прождал её до вечера, до ночи. Бертолетка исчезла. Ночью он сидел в ногах у Дуба и слушал его тяжёлый, прерывистый хрип. Ночь была темна, холодна, страшна и одинока. Владимир вдруг перестал хрипеть, дыхание стало ровнее. Эдуард Аркадиевич наклонился над ним.

— Дуб! — тихонько окликнул он.

— Это ты, Эдя?

— Я.

— А Бертолетка где?

Эдуард Аркадиевич промолчал.

— Сбежала, дура! Так и не женился на ней. Эдя...

— Дуба, я здесь... Дубочка!

— Мы с тобой хорошо жили, Эдя!

— Хорошо, Дуба...

— Хрен с ним, с барахлом этим... Не вписались мы в эту рыночную экономику...

— Не вписались, Дуба...

— Ну, и ладно... Ты меня прости, если что... Там у меня альбомы... Мне будет жаль, если они погибнут... Всё же жизнь моя... Как грустно, Эдя! Я никогда не думал, что будет так грустно умирать...

— Ты не говори так...

Дуб закрыл глаза и замолчал. Эдуард Аркадиевич тщетно звал его. Вновь начался хрип, ещё более страшный, чем прежде... К утру он затих. Эдуард Аркадиевич положил руку ему на грудь. Сердце друга всколыхнулось, встрепенулось птицею и затихло навсегда... Он сидел в холодеющих ногах друга и, мерно раскачиваясь, плакал...

Утром Эдуард Аркадиевич направился к Софии. Вся семья вновь вывалила в переднюю. Он помялся и решительно сказал Софье:

— Софи, Дуб умер...

Он рассказал ей, молча и внимательно выслушивающей его, всё, что мог. Что ему казалось важным. Она проводила его до остановки трамвая и дала денег.

— Зачем ты всё это сделал? — тихо спросила она.

— Прости... — сказал он и пошёл, низко согнувшись, дрожа в стареньком своём плащике...

День он просидел над телом друга, один в холодной пустой квартире. Даже бичи уже не появлялись, чуя чужую смерть.

К вечеру пришли с телевидения и из некоторых газет, с которыми сотрудничал Дуб. Оказалось, что Софья обзвонила их всех. Они и начали организацию похорон. На другой день вдруг привалило народу, и приходили весь день, даже с кинокамерами. Софья дала некролог в своей газете и небольшую статью о жизни и смерти. Телевидение тут же сделало скорбную передачу о нём. Появился Октябрь. Деловой, энергичный, ходкий. Снял модное клетчатое кепи, постоял над гробом и чётким скорбным голосом произнёс:

— Ты отдал жизнь за идею, друг. Мы никогда не забудем тебя.

Потом подошёл к Эдуарду Аркадьевичу.

— Эдя, какие проблемы в организации похорон?

Эдуард Аркадиевич не знал никаких проблем. Он не отходил от тела друга, сидел молча, и всё, что говорилось, делалось вокруг — всё шло мимо него.

Похороны оказались на редкость многолюдными. Пришли из всех редакций телевидения и почти всех городских газет, явились все четыре жены Дуба, сели вокруг гроба, удивительно похожие, тёмные, худые, высокомерные. “И чего он их менял, — подумал Эдуард Аркадиевич, — они все одинаковые”. Октябрь изваянием стоял у гроба. Его речь была чёткой, скорбной и обвинительной — впереди были выборы. Вообще говорили много, много говорили. Какой был дивный, добрый, бескорыстный Дуб. Называли его большим художником, борцом... рыцарем... Эдуард Аркадьевич глядел в красивое, спокойное лицо друга и внутренне говорил ему: “Слушай, Дуб... Ты слышишь, я знаю... Вот ты не зря жил... Не зря... Я тебе главного не сказал, Дуба... Я не сказал тебе, что встретил Ляльку”.

— Да, — сказал он вслух, — не успел... — И все обернулись на него... Эдуард Аркадьевич испуганно огляделся вокруг и втянул голову в плечи.

Бертолетка появилась к поминкам. Она была так польщена многолюдием и обильностью стола, словно это была её заслуга, и во всех выступлениях хвалили как бы её. Она не забывала прикладываться к рюмке, пила и ела, и после каждого выступления говорила окружающим:

— Я была его последней любовью. Мы хотели пожениться... Но вот не успели... Как он меня любил... как любил.

Она сидела на соседской табуретке, скрутив свои змеиные ноги, курила, манерно отставив жёлтый мизинец, и складывала бантиком сухие свои старческие губы.

Все четыре жены Дуба с высокомерным неудовольствием смотрели на неё одинаковыми томными еврейскими глазами...

На другой день он пошёл искать Ляльку. Обошёл всю Шанхайку, все углы... Её нигде не было... Обошёл Шанхайку вокруг... Потом посидел в том углу, на том месте, на котором сидела она... “Лучше бы ты умерла, — подумал он, — нет, правда, лучше бы умерла...”

Через два дня его нашла Софья. Она ждала его на лавочке возле подъезда Дуба. Эдуард Аркадьевич не сразу узнал её. Она поднялась ему навстречу в дорогом просторном кожаном пальто, уже в норковой шапке, и он вначале принял её за бабу из домоуправления, от которой прятался, потому что она требовала его выселения и грозила опечатать квартиру. Он каждый час ждал прихода ОМОНа, но всё думал, что всё как-нибудь образуется само собой, как всегда.

— Эдуард! — окликнула его Софья, видя, как он отшатнулся от неё.

— Софья! Софья! — обрадовался он. От любования ею и его радости она помягчала.

— Мне нужно поговорить с тобою, — сказала она. — Как ты живёшь?

— Очень хорошо. Я очень хорошо живу!

— Да, я вижу, — покачала она головой. — Вот тебе деньги, Эдя. Купи себе куртку. Нехорошо ходить в этом плаще.

— Почему? — удивился он. — Это очень хороший плащ. Финский... Ты же помнишь, его покупала мать, а она никогда не брала плохих вещей.

— Да, да... Это так... Но уже холодно...

— У меня есть куртка... То есть была... но Бертолетка...

Она взглянула на него выразительно.

— То есть, я хочу сказать, что её украли...

Они пошли вверх по тротуару.

— Ты знаешь, мы, наверное, уедем в Израиль, — сказала Софья.

— Да, да, конечно... Как... Зачем? — изумился он, когда до него дошёл смысл сказанного.

— Видишь ли. Боб... он талантливый мальчик... А у России нет будущего!

— Ты так думаешь? Софья... Ты думаешь, что это так?..

— Эх, Эдя, Эдя... Ты совсем не изменился, и за что я тебя любила?!

Он посмотрел на её свежее от мороза, красивое, ухоженное лицо, умело тронутое косметикой, в яркие удлинённые глаза.

— Ты любила меня? — удивился он. — Да, да, конечно... Боже мой, неужели ты меня любила?!..

* * *

Через два дня Эдуард Аркадьевич уже был в Верхоленске, ждал автобус на Мезенцево. Валил густой белый снег. Руки его озябли, и он тщетно пытался согреть их в карманах плаща. На скамейке, возле которой он ходил, лежал рюкзак, забытый альбомами Дуба, и две сумки с продуктами, оставшиеся после похорон. Походив немного, он пересчитал десятки, оставшиеся от денег Софии, и решительно направился в магазин, где купил бутылку водки. Автобус, как всегда, запоздал, и Эдуард Аркадьевич, с трудом протиснувшись

в проходе, стоял все сорок минут до Егоркино. Он чуть не проехал село, и только когда увидел горбатую спину Сапожниковского дома, закричал:

— Остановите, я сойду!

— Сдурел, дед, здесь никто не живёт...

— Ничего, ничего... Я знаю...

Снег валил и валил, белый, влажный, пухло стелился по дороге, забивал ворот плаща и лез под брюки. Но разгорячённый Эдуард Аркадиевич не чувствовал холода, шёл ходко, широко выбрасывал свои длинные деловые ходули. Уже подходя к селу, он услышал стук. Прислушался. Стучали со стороны Сапожниковского дома. Туда он и направился. Иван вышел из ворот усадьбы в фуфайке, опоясанной верёвкой, за которую заткнут топор. Шапка-ушанка приподнята. Бородка и усы влажные от тающего снега.

— О-о-о, — протянул он спокойно, — кого мы видим... Уже не сплю ли я?.. Не снится ль мне сие явление?..

Эдуард Аркадиевич нерешительно встал:

— Иван!

— Я-я!.. Ну...у!

— Иван!

— Ну, я уже шестьдесят пять лет Иван!..

— У тебя там место свободно?.. Рядом с Белкой? — наконец, выдавил из себя Эдуард Аркадиевич. — Я согласен занять это место.

Иван захохотал.

— Белка сдохла... От старости, я полагаю. Но есть ценушка Линка... Так что поселяйся... Здравствуй, Эдя... — Иван обнял его и поцеловал. — Я рад тебе, старый хрыч! Пошли в дом.

Из трубы Иванова дома струился опрятный голубоватый зазывный дымок. Эдуард Аркадиевич уже знал, что такой дым идёт от последней головки в оттопившейся печи. Он глянул на дымок, струящийся в небо, на Сапожниковский дом — высокий, костистый, распластавшийся громадной серой птицею с выветренным клювом конька, на белую деревеньку, утопающую в белом снежном пухе, и радость наполнила его...

— Ваня, ты знаешь, я скучал...

— Верю! Крыса твоя, кетати, сдохла. Это крыс был. Клеоп. Я его нашёл в твоём доме.

— А ты что тут делаешь?

— Ремонтирую! Подвал, ставень да крылец подправил... Косит дом... Съезжать начал... Надо будет летом в подполье залезть, проверить, что там... Венец, может, подгнил... оно и скособочит дом...

— Это же не твой дом!

— А чей? Эдя... Я эту деревню берегу... Бог даст, сдам из рук в руки... А не приведи Господь... дак я до конца жизни свой долг исполню...

В доме Ивана было тепло и сытно пахло печёным. Эдуард Аркадиевич с порога, как он надумал дорогою, сел на собачью подстилку. Он думал пошутить, но вдруг заплакал. Ему было стыдно плакать перед Иваном, но слёзы текли сами собою...

— То-то, — не удержался Иван. — Все вы к Ваньке липнете, как припрёт да жареный петух в задницу клонет. Тут Ванька первый друг.

— Ты понимаешь, Иван... Не люблю я всё там... Чужое... Всё чужое мне у них... И я им не нужен, — Эдуард Аркадиевич утёр слёзы.

“Всё-таки он жесток, — подумал Эдуард Аркадиевич, поднимаясь с пола. — Он всегда был жесток”.

Иван собирал на стол. Выложил черные ржаные лепёшки.

— Я теперь сам пеку, Эдя. Привез муку из Мезенцево, Герочка помог. Герочку-то помнишь?

— Ну-у! — Эдуард Аркадиевич сразу вспомнил его машину и тот случай с ногою и поморщился. — Как он?

— Прощает. Чего ему... Травит ленских старух американскими око-рочками. Спаивает мужиков техническим спиртом.

— Где он его берёт?

— А у местных чурок! Азербайджанцы, армяне... Их сейчас полно

здесь... Они возят цистернами, Герочка развозит по деревням... Да ну его... Даже скучно говорить о нём... Их сейчас — легион! Я его ещё патриотом звал. Да... Такие статейки в “Ленских зорях” помещал! Я прямо умилялся. Рубаху на себе рвал. На митинги в Иркутск ездил. А после расстрела Белого Дома понял, что невыгодно с ними ссориться. Выгоднее с ними быть. Ну, они его и подкормили... Дело завёл. Жадный стал, злой... Даже внешне изменился... Ну, давай ужинать!

Эдуард Аркадьевич суетливо начал выкладывать свои свёртки.

— О-о! — Иван с интересом рассматривал упаковки и наклейки. — Ты чо, Эдя, ты не грабанул кого в Иркутске?

— С поминок это! Друг у меня умер...

— Понимаю!

Выпили молча.

— Правда, настоящая, — удивился Иван. — А я думал, тебя обманули.

Белый свет, чистый, разливной, заполнил кухонку Ивана. Эдуарда Аркадьевича, который уже отвыкал в городе от света и воздуха, он трогал до слёз. Он жадно смотрел на солёные огурцы, крепко-зелёные, с листочками смородины, и на картошку, и на ржаной тяжёлый низкий хлеб Ивана, и всё это казалось ему неподражаемо красивым.

— А вот Дуб остался таким, какими были мы в юности, — с вызовом сказал Эдуард Аркадьевич.

— Ну, и царство ему небесное! Давай его и помянем.

Когда выпили по другой, Иван сказал:

— Сказки русские помнишь? Вот. Помнишь, как братья пошли за правдою... Одного золото с пути сманит... Другому бабёнку подложат... Юдифь... Третьему дешёвой славы подавай... Бес каждому по интересам подберёт... Только Ванька-дурак до цели дойдёт. Его потому и дураком зовут, что ему ничего этого не нужно... Ничего, кроме правды. В сказках русских вся наша суть...

Пока было светло, обошли Егоркино. Снег валил густой, свежий. Уже пуховики его белели на крышах и заплотах, и увязали ноги. За ними бежала щенушка Линка и повизгивала. Иван взял её на руки, сунул за пазуху. Он шёл, как всегда, пружиня чуть кривоватыми ногами, выставив, как бычок, вперед свою крепкую круглую голову, осматривал всё по-хозяйски.

Улеглись пораньше. Эдуард Аркадьевич всё рассказывал о Дубе, о Софье, о внуке. Даже о Марго. Он умолчал только о Ляльке. Иван слушал и курил. Ночью Эдуард Аркадьевич проснулся от шума на кухне. Он сел на своей лежанке. Зимней свежести молодой свет заливал дом. Он глянул в окно. Снег уже не валил, и, как всегда бывает после снегопада, разъяснилось и крепко подморозило.

— Подтоплю, — сказал ему Иван, — а то утром вставать будет холодно. Всё равно не спится.

Печь затрещала сразу. Иван поставил на плитку чайник.

— Перезимуем, Эдя, — успокоил он. — Картошка есть... муку припасли... Сальца прикупили... Не пропадём...

Они ещё попили чаю при снежном свете. Натопилось сразу. Тепло обволокло, и захотелось спать. Но Иван в потёмках всё шарился по дому.

— Старость, Эдя! Не спится... Тебя тут не было... дак лежишь один и кого только не вспомнишь. Вся деревня словно сюда придёт. Все судьбы перемоешь, перетрясёшь... Тут не только тебе — волку обрадуешься. Хоть книгу пиши.

— А ты пиши!

— А может, и сяду. Времени много сейчас. Кто его знает... Не зря же меня Господь сюда вернул. Я отсюда убегал прытью, легко уходил, не оглядываясь. А возвращался через кровь. Душу разодрал всю, пока не понял, где мне место. Можно сказать, на карачках приполз к кровному своему. К могилам родным. Может, если описать, так мой путь пригож.

— Пригож!

— А как же! Это русский путь. Наш русский соблазн! Вот и сижу бабаем. Последний хранитель своей деревни. Я сюда никого чужого не пущу.

Я буду ждать русских. Знаешь, раньше ждали, когда придут русские. Вот и я буду ждать своих, русских...

— А если кто купит там эту деревеньку. Ашот какой-нибудь, — Эдуард Аркадьевич вспомнил случай в милиции. — Или китайцы...

Иван лёг — руки за голову, и в ночном свете помолодел. От сытости и тепла Эдуарда Аркадьевича тянуло в сон. Он уже проваливался сладко, спокойно, по-детски мягко, и ответ Ивана был тихим и как бы выплетался в эту дрёму.

— А у меня припасено... для них. И для кавказцев, и для китайцев... Сейчас, слава Богу, не проблема приобрести хорошее оружие. Я, может, не прожил русским мужиком, дак хоть помру им. Может, Господь сподобит меня на поступок хоть на старости лет... Сколько ни положу — все мои. Перед своим русским Богом скажу: “Вот, Господи, я защищал Русскую землю. Я её продал, я её и защищал. Прости, если сможешь...”

Эдуард Аркадьевич хотел ответить, но не смог. Сон сморил его.

Перед утром совсем разъяснило, и ударил первый крепкий морозец. Воздух сразу истончился и подсох. Небо поднялось, и звёзды высветились. Над серебряным ковчегком полумесяца светится оранжевый ободок, предвещающий долгую морозную пору. Деревня в снегах уплотнилась и собралась, как стадо, вокруг дыма Ивановой трубы. Дым валит столбом, крепкий, густой, единственный, с прожилками крупной искры. Вместе с уютным огнём керосиновой лампы на окне дом Ивана кажется крепче и красивее Сапожниковского дома, который никак не может оторваться от земли и всё смотрит своими громадными и зоркими глазами-окнами в северное небо. В этих единственных в деревне застеклённых окнах отражаются звёзды, и мутный барашек редких облачков, и месяц с ободком, и только внизу, под крестовиной, чуть виднеются белые останки брошенной русской деревни...